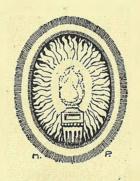
ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ

ИВЛНОВЪ-РЛЗУМНИКЪ.

T. IV.



КНЕО-ПРОМЕТЕЙ-Н-Н-МИХАЙЛОВА-



ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ.

T. IV.

ЛЕВЪ ТОЛСТОЙ.

КН-ВО «ПРОМЕТЕЙ» Н. Н. МИХАЙЛОВА.

ОГЛАВЛЕНІЕ

																		Стр.
Предислові	ie								•									7
Глава I				•			•											9
Глава II						•		•									•	33
Глава III										•	•	•						56
Глава IV					•					•								7 9
Глава V			•					•						•			•	98
Глава VI					•	• `	•		•							•		122
Глава VII						•									-		•	139
Послъслов	ie															•		1 61

Въ предисловіи къ книгѣ «Великія исканія» я говориль о двухъ писателяхъ, «жизнь которыхъ прошла какъ сплошное великое исканіе единой и вѣчной истины»,—о Виссаріонѣ Григорьевичѣ Бѣлинскомъ и Львѣ Николаевичѣ Толстомъ. Сопоставить эти два имени особенно умѣстно было именно въ наше время, когда нѣкоторые съ такимъ усердіемъ проповѣдуютъ мысль о какихъ-то двухъ разныхъ русскихъ «интеллигенціяхъ». В. Бѣлинскому была посвящена книга «Великія исканія»; о другомъ великомъ искателѣ, Львѣ Толстомъ, говорится въ настоящей книгѣ.

Книга эта—историко-литературный очеркь (со значительными сокращеніями впервые напечатанный въ V томѣ «Исторіи русской литературы XIX в.», изд. «Міръ»); главной задачей его является выясненіе той, по выраженію самого Толстого, с у к р о в и ц ы, которая заключена во всѣхъ его произведеніяхъ, во всемъ его творчествѣ. Эта «сукровица» показываетъ намъ, какъ проявля лись въ творчествѣ Л. Толстого его мучительныя великія исканія,

заполнившія собою всю его жизнь—оть отроческих відоть до октябрьских дней 1910 года. «Великія исканія»—это общее заглавіе относится и къ настоящей книгъ.

Ивановъ-Разумникъ.

Октябрь 1912 г.

Левъ Николаевичъ Толстой.

«Чтобъ жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и въчно бороться и пишаться. А спокойствіе—душевная подлость.

(Изъ письма Л. Н. Толстого къ гр. А. А. Толстой, въ октябръ 1857 года).

«Одинъ смысль жизни—совершенствованіе. Жить для Бога одного—невозможно. То-же—для себя, то-же—для людей. Можно жить только для Бога, для людей и для себя».

(Записано Л. Н. Толстымъ, «чтобы не забыть», на обложкъ «Живого Трупа», 1900 г.).

I.

Чъмъ историческое явление больше, тъмъ нагляднъе примънение къ нему того общаго закона человъческаго разума, по которому все, совершавшееся въ причинномъ ряду, становится, когда человъкъ смотритъ въ прошлое, не только причинно-обусловленнымъ, но и необходимо-пълесообразнымъ.

Въ исторіи русской литературы двухъ посл'єднихъ в'єковъ всі причинныя нити связались въ первой половині XIX в'єка въ одинъ громадный узелъ: появился Пушкинъ, сл'єдствіе причиннаго и ціль телеологическаго ряда. Въ Пушкині достигла высшаго развитія не одна только форма, въ немъ уже дали ростъ зерна тіхъ проникновенныхъ чувствъ и идей, развитіе которыхъ могло стать удієломъ только слієдующихъ поколієній. И если Пушкинъ быль синтезомъ всей полутора-вієковой исторіи русской

литературы, то Достоевскій и Левъ Толстой явились слѣдующей и наивысшей ступенью синтеза, послѣдней «цѣлью» всего двухвѣкового развитія и русской литературы, и духа русскаго народа. Зерна, давшія рость уже въ Пушкинѣ, обратились въ вѣковыя, гигантскія деревья—высочайшія не въ одной русской, но и во всемірной литературѣ.

Великіе люди не съ неба сваливаются на землю, а изъ земли растуть къ небесамъ,—это истина слишкомъ извъстная. Какъ рось изъ земли Толстой, на какой почвъ, въ какой атмосферъ—отмътить это является необходимой задачей историка литературы; но подробное изученіе всего этого возможно только въ обширной біографіи Л. Н. Толстого, которая еще не скоро можетъ быть написана. Здъсь мы только слегка можемъ коснуться той соціальной среды и обстановки, въ которыхъ выросъ геній Л. Толстого. Да и не въ этомъ главный вопросъ. Почему и какъ выросло міровоззръніе Л. Толстого—это только половина вопроса, половина дъла; остается главное—оцънка и изученіе по существу философскихъ воззръній и художественныхъ интуицій писателя на фонъ ихъ историческаго развитія.

Развитіе и рость Толстого—это громадная и спеціальная тема, которая только тогда станеть доступна во всёхъ частностяхъ, когда мы отойдемъ на значительное разстояніе отъ гиганта русской литературы; но даже теперь, когда Л. Толстой такъ близокъ намъ по времени, есть возможность установить два дополняющія другь друга положенія. Первое говорить объ единствё и цёльности громадной личности Толстого, объ отсутствій въ ней какого бы то ни было «перелома»; второе устанавливаеть рядъ глубокихъ и серьезныхъ кризисовъ въ жизнепониманіи великаго писателя. Не такъ давно еще думали, что въ концё семидесятыхъ и началё восьмидесятыхъ годовъ произошелъ глубокій, коренной, внутренній переломъ личности Толстого, и этимъ «религіознымъ переломомъ» объясняли всю дѣятельность Толстого послѣ «Исповѣди». Это совершенно невѣрно. Изученіе его художественныхъ произведеній съ неменьшей убѣдительностью, чѣмъ знакомство съ его

письмами и дневниками, давно уже показало, что никакого фелигіознаго перелома» въ личности Толстого не было, а было только глубокое развитіе тѣхъ началъ, которыя ясно проявлялись въ немъ и въ сороковыхъ, и въ пятидесятыхъ, и въ семидесятыхъ годахъ. Но въ то же самое время мы должны считаться съ тѣми громадной важности кризисами въ жизнепониманіи Толстого, о которыхъ онъ самъ говоритъ, и въ смѣнѣ которыхъ состоитъ все его литературное и жизненное развитіе. О р г ан и ч е с к а я ц ѣ л ь н о с т ь л и ч н о с т и и г л у б о к і е к р и з и с ы е я—воть исторія творчества Л. Толстого, исторія творчества, а значить и исторія жизни, такъ какъ вся жизнь этого великаго искателя была въ творчествѣ художественномъ, философскомъ, религіозномъ.

И въ художественномъ творчествъ настолько ярко отразилась жизнь его и окружающей его среды, что мы можемъ здъсь почти совсъмъ миновать характеристику среды, въ которой выросъ Л. Толстой: онъ самъ сдълаль это съ неподражаемымъ мастерствомъ въ «Войнъ и миръ», а также и въ первыхъ своихъ произведеніяхъ.

Четвертый сынъ семьи захудалаго рода графовъ Толстыхъ (мать была урожденная княжна Волконская), лишившись рано матери и отца, Левъ Толстой родился 28 авг. 1828 г. и выросъ подъ надзоромъ русскихъ нянюшекъ, нѣмцевъ-учителей и французовъ-гувернеровъ. Обычное въ то время воспитаніе богатаго барчука-дворянина завершилось въ университетѣ (Казанскомъ), гдѣ, впрочемъ, Л. Толстой пробылъ недолго: ученіе шло неудачно и, перемѣнивъ въ теченіе двухъ лѣтъ два факультета, восточный и юридическій, Толстой покинулъ университетъ въ 1847 году. Послѣ этой неудачи онъ попробовалъ хозяйничать въ деревнѣ—опять-таки неудачно, жилъ въ Петербургѣ и Москвѣ, увлекался цыганами и игрой, проигрывалъ большія суммы и пользовался среди своихъ родныхъ репутаціей «самаго пустяшнаго малаго» (такъ называли его братья). Кончилось тѣмъ, что двадцатитрехлѣтній и не сумѣвшій ни на чемъ остановиться

юноша избраль дорогу довольно обычную для неудачниковь того времени: онь уфхаль на Кавказъ (1851 г.) и поступиль въ военную службу—сталь «фейерверкеромъ 4-й батареи», юнкеромъ и вскоръ офицеромъ.

Подъ этой наружной корой обычной и обыденной жизни «добраго малаго» юноши, человъка «parfaitement comme il faut» шла, однако, глубокая, внутренняя, органическая работа. Юноша много читаль, много думаль, пробоваль писать. Сохранился составленный имъ уже въ концъ жизни интересный списокъ тъхъ произведеній, которыя оказали на него въ молодые годы особенное вліяніе. «Огромное вліяніе» оказали на него, въ дътскомъ возрасть, русскія народныя сказки, былины и исторія Іосифа изъ Библіи; когда онъ сталъ старше, то такое же «огромное вліяніе» имълч надъ нимъ «Confession» и «Emile» Руссо, Евангеліе Матоея (нагорная проповъдь) и романы Диккенса («Давидь Копперфильдъ»), и «очень большое вліяніе»—«Евгеній Онвгинъ» Пушкина, произведенія Гоголя, Тургенева («Записки охотника»), Григоровича («Антонъ Горемыка»), Лермонтова ¹). «Я прочелъ разсказываль впоследствіи Л. Толстой-всего Руссо, всё двадцать томовъ... Я болъе чъмъ восхищался имъ, я боготворилъ его. Въ 15 лъть я носиль на шев медальонь съ его портретомъ вмъсто натъльнаго креста». Врядъ ли многіе изъ пятнадцатилетнихъ мальчиковъ, сверстниковъ Толстого, могли сказать о себъ что-нибудь подобное. Нъсколько позднъе, уже въ университеть, Толстой изучаль Монтескье и писаль работу на тему сравненія «Esprit des lois» этого автора съ «Наказомъ» Екатерины II, и работа эта очень занимала его. Такимъ образомъ, вліяніе на юношу оказали съ разныхъ сторонъ самыя различныя произведенія-и религіозно-этическія, и общественныя, и проникнутыя философіей глубокой и полной личной жизни, --и Евангеліе, и Руссо, и Монтескье, и «Евгеній Онтинъ» Пушкина.

Чтобы не загромождать текста, примъчанія, ссылки и цитаты отнесены къ концу книги.

Въ послъдующей своей жизни, въ послъдующемъ творчествъ Толстой исчерпаль всъ эти три типа отношенія къ жизни и міру.

Итакъ, «самый пустящный малый», безпутный юноша, принужденный убхать на Кавказъ и поступить въ юнкера, продблываль, незамьтно для окружающихь, громадную внутреннюю работу. Онъ пробоваль писать, строить системы и теоріи; сохранилась, напримъръ, статья 1846-1847 года «О пъли философіи» (еще не напечатана), въ которой философія опредъляется, какъ «наука жизни» 2); сохранились многочисленныя записи въ дневникахъ (тоже еще не опубликованныхъ), которыя показываютъ, что еще въ сороковыхъ и пятидесятыхъ годахъ Толстой высказываль тъ самыя мысли, которыя развить ему пришлось полувъкомъ поздиве. Но все это было еще очень молодо, не разработано и главное-еще не пережито; длинный жизненный путь надо было еще свершить двадцатильтнему юношь, ему суждено было пройти по всемъ дорогамъ, на которыя только вступала человеческая мысль въ своихъ исканіяхъ правды и смысла міра. Но прежде всего ему предстояло вступить въ жизнь, испытать всъ ея стороны и найти ту дорогу, ту область, въ которой онъ могь бы проявить свои силы. Такой областью оказалось художественное творчество.

Исторія русской литературы навсегда сохранить память о Татьянѣ Александровнѣ Ергольской, «тетенькѣ» Л. Толстого (такъ зваль онъ всегда эту дальнюю родственницу своего отца). Это на ея рукахъ росъ маленькій «Лёва»; это ее вывель онъ, уже знаменитый писатель, подъ именемъ Сони въ «Войнѣ и мирѣ»; но главное—это она была крестной матерью первыхъ литературныхъ начинаній Л. Толстого, это она посовѣтовала ему попробовать свои силы въ литературѣ. Попавъ на Кавказъ, онъ вспомниль объ этомъ совѣтѣ, и вотъ что писалъ онъ Т. А. Ергольской 12 ноября 1851 года: «vous rappelez-vous, bonne tante, un conseil, que vous m'avez donné jadis—celui de faire des romans, eh bien! je suis votre conseil, et les occupations dont je vous parle consistent à faire de la littérature. Je ne sais, si ce que j'écris pa-

гаїтта jamais dans le monde, mais c'est un travail qui m'amuse et dans lequel je persévère depuis trop longtemps pour l'abandonner» 3). Эта литературная работа—«Д ѣ т с т в о», стоившее автору упорнаго и долгаго труда; по крайней мѣрѣ въ письмѣ къ той же «тетенькѣ» отъ 30 мая 1852 г. Толстой сообщаетъ, что онъ уже три раза передѣлалъ эту свою давно начатую работу и собирается еще четвертый разъ передѣлать ее. Такъ или иначе, но уже въ началѣ іюля онъ заканчиваетъ работу надъ этимъ первымъ своимъ произведеніемъ и отправляетъ его въ Петербургъ, въ редакцію «Современника». 6 сентября 1852 года въ Петербургѣ вышла сентябрьская книжка «Современника», въ которой была помѣщена «Исторія моего дѣтства», подписанная литерами Л. Т.

Заглавіе не вполнъ соотвътствовало надписи: это не была точно и строго описанная исторія д'єтства самого Л. Толстого, хотя въ повъсти этой и есть много автобіографическаго матеріала. «Замысель мой быль описать исторію не свою, а моихъ пріятелей дътства», -- вспоминалъ впослъдствіи (въ 1905 году) самъ Толстой, но это утверждение его надо принимать cum grano salis: внъшняя исторія этого «Дътства» была въ нъкоторыхъ частяхъ не исторія маленькаго «Левы», но внутреннія переживанія д'єтской души были отъ перваго до последняго слова автобіографичны, не говоря уже о цёломъ рядё живыхъ лиць, каковы гувернеръ Өедоръ Ивановичь Рессель (въ повъсти Карлъ Ивановичь), бабушка, горничная Гаша, брать Л. Толстого Сергви (въ повъсти Володя), Дунечка Темяшева (въ повъсти Катенька), экономка Прасковья Исаевна (въ повъсти Наталья Савишна), буфетчикъ Василій и т. д., и т. д. Можно составить длинный списокъ лицъ, которыхъ Толстой, по собственнымъ его словамъ, «довольно върно описалъ» въ своей художественной трилогіи. Но именно въ виду того, что это было художественное произведение, внъшние факты могли и должны были въ немъ измениться, описываемые люди должны были выйти не холодными фотографіями, а художественными портретами. Главное же, что на этомъ фонъ должна была выступить исторія дётской души—такая, казалось бы, обычная исторія: радости, слезы, смѣхъ, ученіе, дѣтская любовь, дѣтское горе. Такъ все это обычно, обыденно и просто, а между тѣмъ только большой художникъ можетъ браться за изображеніе души ребенка.

Еще до начала работы надъ «Дътствомъ» Толстой задумываль другую работу-тоже состоящую въ художественномъ изображеніи «обыденнаго», простого, проникновенія до глубинъ души отъ простыхъ внёшнихъ формъ. «Вотъ ходить будочникъ: кто онь такой, какая его жизнь? А воть карета пробхала: кто тамъ и куда ъдетъ, и о чемъ думаетъ, и кто живетъ въ этомъ домъ, какая внутренняя жизнь ихъ?.. Какъ интересно бы было все это описать, какую можно бы было изъ этого сочинить интересную книгу!» Такъ думалъ и записывалъ въ своемъ юношескомъ дневникъ Толстой, увлеченный книгой Стерна «Sentimental journey»; но эта же книга, по указанію самого Толстого, сильно подъйствовала и на формы выраженія «Дътства» 4). Если мы прибавимъ сюда еще «Confession» Руссо, вліяніе котораго на Толстого было, какъ мы уже слышали отъ него, «огромное», то станеть яснымъ источникъ одной характерной для Толстого черты, присущей ему отъ дътства и до старости. Черта этанъкоторая сентиментальность, проникающая и во всь произведенія Толстого и въ поздньйтую его проповыдь. Конечно, сентиментальность эта—не условная, «карамзинская», театральная сентиментальность конца XVIII въка, но глубоко скрытая, внутренняя черта характера. И не даромъ всю свою жизнь Толстой быль такъ «слабъ на слезы», по его выраженію. «Отъ старости, или отъ болезни, или того и другого вместе я сталь слабь на слевы умиленія, радости», писаль Толстой мъсяца за четыре до смерти; онъ забыль, что это всегда было характерной его чертой. Это видно изъ «Дътства», «Отрочества» и «Юности»; но и офицеръ-Толстой часто продолжаеть плакать «сладкими слезами»; онъ постоянно плачеть отъ радости и умиленія, читая письма своей «тетеньки», Т. А. Ергольской, и,

сообщая ей объ этомъ, говоритъ: «j'ai toujours été Лёва-рева» (такъ, очевидно, шутливо звали его въ семъв). И черезъ двадцать лътъ послъ этого Толстой съ такими же «слезами умиленія» читаетъ письма Фета; также «слабъ на слезы» и Левинъ, и Пьеръ, и Нехлюдовъ и вообще всъ герои Толстого, близкіе ему по душъ. «Сдерживаемыя слезы умиленія и радости» слишкомъ часто встръчаются въ произведеніяхъ и въ письмахъ Толстого, чтобы на эту черту можно было не обратить пристальнаго вниманія.

Исторія души ребенка, переданная съ глубокой правдивостью, тонкой нъжностью и съ налетомъ сентиментальности, сразу показала въ авторъ громаднаго художника. Въ «Отрочествъ» и «Юности» (1854—1857 г.) Толстой уже съ увъренностью шель по начатому пути; и въ виду того, что по прежнему все главное въ этихъ произведеніяхъ вполнъ автобіографично, повъсти эти представляють не только спеціальный историко-литературный интересъ. Передъ нами проходить все развитіе души Толстого: глубокое впечатлъніе, произведенное на мальчика юродивымъ Гришей и его безхитростной беседой съ Богомъ; первыя религіозныя переживанія, нав'вки запечатл'євшіяся въ д'єтской душ'є. Затъмъ начинается «отрочество», съ его расширеніемъ горизонта жизни, съ первымъ осознаніемъ соціальнаго элемента, съ первымъ признаніемъ кромъ своего единичнаго «я» еще и множественнаго «ты». Въ этомъ осознании и признании Толстой видить моральный перевороть, означающій собою начало отрочества. «Мнъ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свътъ, что не всв интересы вертятся около насъ, а что существуеть другая жизнь людей, ничего не имъющихъ общаго съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имъющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнівнія, я и прежде зналь все это; но зналь не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ 5). Новый, соціальный элементь вошель въ сознаніе ребенка; старая религіозная работа души продолжалась. Рождаются первыя

отроческія религіозныя сомнінія, вызванныя несправедливой обидой; а отсюда уже недалеко и до мысли о несправедливости Провидьнія вообще, до первыхь отроческихь «богоборческихь» вопросовъ и сомнъній. Несправедливо наказанный и запертый въ темномъ чуланъ, мальчикъ начинаетъ мучительно думать на тъ самыя темы, которыя черезъ много лътъ стануть на пути жизни уже знаменитаго писателя Л. Толстого, когда онъ придетъ къ той мысли, что человъкъ отъ рожденія запертъ Богомъ въ тъсный чуланъ, и отъ рожденія до смерти наказывается несправедливо. Ибо что справедливаго, напримёръ, въ севастопольской бойнъ и что другое, какъ не темный чуланъ-жизнь человъка. трепещущаго смерти? «Положительно могу сказать, что первый шагь къ религіознымь сомнініямь, тревожившимь меня во время отрочества, быль сдёлань мною теперь, не потому, чтобы несчастіе побудило меня къ ропоту и невърію, но потому, что мысль о несправедливости Провиденія, пришедшая мнё въ голову въ эту пору совершеннаго душевнаго разстройства и суточнаго уединенія, какъ дурное зерно, послъ дождя упавшее на рыхлую землю, съ быстротой стала разростаться и пускать корни»... 6)

А отсюда—первые вопросы пробудившейся души и первыя попытки отвёта на нихь, «склонность къ умствованіямъ», которую молодой авторъ-Толстой считаетъ своимъ главнымъ недостаткомъ, «которому—пишетъ онъ—суждено надёлать мнё еще много вреда въ жизни». И «умствованія» эти были у мальчика Толстого все тё-же самыя, которыя старикъ-Толстой записывалъ дрожащими руками передъ своей смертью... «Едва-ли мнё повёрять, какіе были любимёйшіе и постояннёйшіе предметы моихъ размышленій во время моего отрочества—такъ они были несообразны съ моимъ возрастомъ и положеніемъ. Но, по моему мнёнію, несообразность между положеніемъ человёка и его моральною дёятельностію есть вёрнёйшій признакъ истины... Всё отвлеченные вопросы о назначеніи человёка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнё; и дётскій, слабый умъ мой со всёмъ жаромъ неопытности старался уяснить

ть вопросы, предложение которыхъ составляеть высшую ступень, до которой можеть достигнуть умь человъка, но разръшение которыхъ не дано ему»... «Мнъ кажется, —прибавляеть Толстой, что умъ человъческій въ каждомъ отдъльномъ лицъ проходитъ въ своемъ развити по тому-же пути, по которому онъ развивается и въ цёлыхъ поколеніяхъ, что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляють нераздёльныя части ума, но что каждый человъкъ болъе или менъе ясно сознаваль ихъ еще прежде, чъмъ зналь о существовании философскихъ теорій» 7). И Толстой разсказываеть, какъ онь то приходиль къ мысли, что счастіе зависить только оть нашего отношенія внъщнимъ причинамъ, и потому пріучалъ себя переносить страданія, стегая себя веревкой по голой спин'в или держа въ вытянутыхъ рукахъ тяжелые лексиконы; то ръшаль, что счастіе человъка только въ пользованіи настоящимъ, безъ помышленія о будущемъ, и потому на цълые дни бросалъ уроки и, лежа въ постели, наслаждался чтеніемъ романовъ и бдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, купленныхъ на послъднія деньги; то приходиль къ самому крайнему скептицизму и «терялъ одно за другимъ убъжденія, которыя для счастія моей жизни я никогда бы не должень быль смъть затрогивать»... Всъ позднъйшія религіозныя и философскія исканія Толстого заключены, какъ громадное дерево въ маломъ зериѣ, въ этихъ отроческихъ его «умствованіяхъ». Самосовершенствованіе, идея прогресса, религія жизни-все то, чъмъ жилъ и росъ впослъдстви Толстой, все имъло свои корни еще въ его отрочествъ, въ его ранней юности.

«Склонность къ умствованіямъ» привела мальчика къ дружбѣ съ такимъ-же «мечтателемъ», Дмитріемъ Нехлюдовымъ (другь Л. Толстого, Д. А. Дьяковъ): начиналась «юность», съ ея мечтами о цѣли жизни, о самосовершенствованіи. Послѣдняя идея была главной, центральной, господствующей идеей всей юности Толстого, и вотъ почему «юность» такъ напоминаетъ намъ старость Толстого, послѣднія его вѣрованія и надежды. «Подъ вліяніемъ Нехлюдова—пишетъ Толстой въ послѣднихъ строкахъ «Отро-

чества»-- я невольно усвоиль и его направленіе, сущность котораго составляли восторженное обожаніе идеала добродътели и убъждение въ назначении человъка постоянно совершенствоваться. Тогда исправить все человъчество, уничтожить всъ пороки и несчастія людскіе казалось удобоисполнимою вещью; очень легко и просто казалось исправить самого себя, усвоить всъ добродътели и быть счастливымъ... А впрочемъ, Богь одинъ знаеть, точно-ли смѣшны были эти благородныя мечты юности, и кто виновать въ томъ, что онв не осуществились»... Пятьдесять лътъ спустя, въ мало-извъстной статьъ «Върьте себъ» (1906 г.), самъ Толстой перебросиль мость оть своихъ старческихъ върованій къ этимъ мечтаніямъ юности; и онъ былъ глубоко правъ 8). И это касается не только однихъ мечтаній о самосовершенствованіи, но и рѣшительно всего круга мыслей Толстого, всего строя его души; нътъ лучшаго доказательства органической цъльности его личности. Читая «Юность» такъ и видищь всего Толстого, отъ его юности и до старости. Развъ не всю жизнь сопровождала Толстого та «любовь любви», о которой онъ говорить въ «Юности»? «Миъ хотълось сказать свое имя... и чтобы всв были поражены этимъ извъстіемъ, обступили меня и благодарили бы за что-нибудь»... Развъ не всю жизнь преслъдовали Толстого тъ вопросы-«ну, а потомъ?..» и «зачъмъ?», о которыхъ онъ впервые упомянуль въ «Юности», а затемъ въ «Исповеди», черезъ три десятка лѣтъ? 9). Развъ чувство «отвращенія къ себъ и раскаянія», о которомъ Толстой пишеть въ «Юности», не проходило черезъ всю его жизнь? «Я даже наслаждался въ отвращеніи къ прошедшему и старался видъть его мрачнъе, чъмъ оно было»--это свое юношеское чувство Толстой съ особенной ръзкостью сталь снова испытывать и выражать въ старости. А тъ схемы новеденія и «правила жизни», которыя строиль въ юности Толстой-не проходять-ли они черезь всю его жизнь и черезь все его творчество? Вспомните, какъ герой «Юности» составляеть «расписаніе обязанностей», разділивь ихъ на три рода: «обязанности къ самому себъ, къ ближнимъ и къ Богу», какъ онъ криво

и косо пишеть свои «правила жизни»—развъ это не исторія всей жизни Толстого? Недаромъ-же и князь Нехлюдовъ (изъ «Утра помѣщика», 1852 г.), приступая къ дъятельности, прежде всего «написалъ себъ правила дъйствія»; недаромъ Пьеръ, въ «Войнъ и миръ», распредъляеть свои добродътельныя обязанности по рубрикамъ 1, 2, 3 и а, b, c, d; недаромъ князь Нехлюдовъ уже въ «Воскресеніи», написанномъ черезъ поль-въка послъ «Утра номъщика», попрежнему «составляеть себъ правила, которымь намфревается следовать уже навсегда» и всегда собирается начать новую жизнь—«turning a new leaf». Недаромъ, наконецъ, самъ Толстой, съ начала и до конца своей жизни, подводитъ все подъ рубрики, подъ схемы и правила. Три способа устроиться пом'вщику въ деревн'в («Д'втство», гл. IV); три рода любви къ человъку («Юность», гл. XXIV); три главные типа солдать, каждый съ двумя подразделеніями («Рубка леса», гл. II); четыре «упряжки» дня и четыре рода д'вятельности челов'вка («Такъ что же намъ дълать»?, гл. XXXVIII), десятки мъстъ такихъ подробно разработанныхъ схемъ и «правилъ жизни»—все это не случайные гости въ творчествъ Толстого, а основныя въхи, намъчающія собою весь путь его жизни. И если ко всему этому прибавить еще ту сентиментальность, о которой мы уже говорили, и ту способность «невозможно-ребячески мечтать», о которой самъ Толстой разсказываеть въ «Юности» и которая сохранилась до старости его, то органическая цельность личности Толстого станеть еще болье несомнынной. «Я убыждень вь томь,—писаль Толстой въ III главъ «Юности», —что, ежели мнъ суждено прожить до глубокой старости, и разсказъ мой догонить мой возрасть, я старикомь семидесяти лъть буду точно такъ же невозможно-ребячески мечтать, какъ и теперь. Буду мечтать о какойнибудь прелестной Маріи, которая полюбить меня, беззубаго старика, какъ она полюбила Мазену, о томъ, какъ мой слабоумный сынъ вдругь сдёлается министромъ по какому-нибудь необыкновенному случаю, или о томъ, какъ вдругъ у меня будетъ пропасть милліоновъ денегь»... И Толстой не ощибся: семидесятилътнимъ старикомъ онъ продолжалъ по-юношески мечтать—
правда, не о милліонахъ, не о любви прелестной Маріи, не о мъстъ
министра для слабоумнаго сына, но о томъ, какъ вдругъ исправится все человъчество, какъ по какому-нибудь необыкновенному
случаю у людей откроются глаза на истину, какъ «стоитъ только
захотъть»—и самосовершенствованіе спасеть міръ. Еще разъ
спрошу: послъднія страницы «Отрочества» и первыя «Юности»—не
повториль ли ихъ буквально Толстой уже въ глубокой старости,
когда онъ снова пришелъ къ мечтамъ о самосовершенствованіи,
какъ единственномъ назначеніи человъка?

Когда Толстой закончиль свою юношескую трилогію, онь быль уже знаменитымъ русскимъ писателемъ, стоявшимъ въ одномъ ряду съ Тургеневымъ, Гончаровымъ, Островскимъ. «Дътство» было сравнительно мало замъчено критикой, но замъчено читающей публикой, и чуткій Некрасовъ, стоявшій во главѣ «Современника», немедленно учелъ это, предложивъ Толстому за последующія произведенія «лучшую плату, какую получають наши извъститище, весьма немногіе, беллетристы». Еще большій успѣхъ имѣло «Отрочество», и Тургеневъ, радуясь этому успъху въ одномъ изъ своихъ писемъ, пророчески прибавлялъ: «дай только Богь Толстому пожить, а онь, надёюсь, еще удивить насъ всъхъ-это талантъ первостепенный». И въ другихъ письмахъ того же времени (1854—1857 г.): «когда это молодое вино перебродить, выйдеть напитокъ достойный боговъ»; «этоть человъкъ пойдеть далеко и оставить за собой глубокій слъдъ». Однако не эта трилогія создала литературную славу Толстого среди читающей публики того времени; эта слава создалась и упротолько послѣ появленія трехъ очерковъ «Севасточилась поль».

Мы должны, впрочемъ, остановиться сперва на другомъ произведении Толстого—на его «кавказскомъ романъ», написанномъ еще въ 1852 году, но законченномъ и отданномъ въ печать десятью годами поздите. Романъ этотъ Толстой такъ и не довелъ до конца, задуманную вторую часть такъ никогда и не написалъ,

такъ что мы имъемъ теперь только первую часть этого романа, въ формъ повъсти «Казаки».

Подобно всемъ произведеніямъ Л. Толстого, автобіографична и эта повъсть: Оленинъ-слишкомъ явный Левъ, чтобы это стоило доказывать. Два героя въ этомъ произведении: Оленинъ-Толстой, попавшій въ первобытную, нетронутую среду и радостно смывающій съ себя всё румяна цивилизаціи, и второй герой-непосредственная, первобытная природа, представителями которой являются казаки и прежде всего дядя Ерошка. Дядя Ерошка-величайшій во всемь творчествъ Толстого выразитель инстинкта жизни, силы жизни, любви жизни. Его философія такъ же проста и глубока, какъ та природа, въ которой онъ живетъ, —именно «въ которой», потому что жизнь природы для него то-же самое, что воздухъ для человъка, вода для рыбы. Жизнь цънна и дорога сама по себъ, кто бы ни быль ея носитель; и дядя Ерошка своими корявыми толстыми пальцами ловить и отгоняеть летящихь на огонь бабочекъ: «сгорищь, дурочка; воть сюда лети-мъста много. Сама себя губишь, а я тебя жалью»... Все живое человьку надо любить, но охотнику дядъ Ерошкъ надо не только любить, но и убить-и онъ подчиняется этому «закону». «Ты ее (дикую свинью) убить хочешь, а она по лъсу живая гулять хочеть. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она свинья, а все она не хуже тебя, такая же тварь Божія»... И именно потому, что у всякаго «свой законъ», столкновеніе этихъ законовъ есть фактъ жизни, который надо принять. «Всякій свой законъ держить. А по-моему все одно. Все Богь сделаль на радость человеку. Ни въ чемъ греха неть. Хоть съ звъря примъръ возьми»... «Гръхъ-гдъ гръхъ? На хорошую девку поглядеть грехь? Погулять съ ней грехь? Али любить ее гръхъ? Это у васъ такъ? Нътъ, отепъ мой, это не гръхъ, а спасеніе. Богь тебя сдівлаль, Богь и дівку сдівлаль. Все Онь, Батюшка, сдълалъ»... Жить надо до дна, во всю, беря отъ жизни все, что она даеть, потому что «сдохнешь-трава вырастеть на могилъ, вотъ и все»...

Эта наивная, примитивная и глубокая философія дяди Ерошки

впоследстви такъ безконечно углубленная Толстымъ въ «Войне» и миръ», оттъняеть исихологію Оленина, одного изъ постоянныхъ «авто-героевъ» Л. Толстого. Оленинъ-это все тотъ-же герой «Юности», только что вышедшій изъ юности, во всемьюнощески «разочарованный», ничъмъ не связанный, въчно увлекающійся и невозможно-ребячески мечтающій. «Для него не былоникакихъ, ни физическихъ, ни моральныхъ оковъ; онъ все могьсдълать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни въры, ни нужды. Онъ ни во что не върилъ и ничего не признавалъ. Но, не признавая ничего, онъ не только не быль мрачнымъ, скучающимъ и резонирующимъ юношей, а напротивъ, увлекался постоянно... Онъ любиль до сихь поръ только себя одного и не могь не любить. потому что ждаль отъ себя одного хорошаго и не успъль еще разочароваться въ самомъ себъ»... 10). Онъ попадаетъ въ новую для него среду первобытной природы, первобытныхъ людейи съ нимъ свершается одинъ изъ тъхъ душевныхъ переворотовъ, которые неизбъжно совмъщаются съ органической цъльностью личности Толстого. Оленинъ начинаетъ, во-первыхъ, видътъ всю ложь былой своей тородской жизни, а во-вторыхь, онъ начинаеть понимать всю ложь своей былой любви «только къ себъ»: онъ приходить къ убъжденію, что «счастье-это быть съ природой, видъть ее, говорить съ ней», и въ то-же время «счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ». Съ отвращеніемъ и гадливостью относится онъ къ былой своей московской жизни, къ городской «цивилизаціи», къ тому «средне-высшему кругу» (по слову Достоевскаго), въ которомъ шла его жизнь, жизнь Оленина-Толстого. «Какъ вы мив всв гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастье и что такое жизнь! Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскуственной красоть. Надо видьть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой: въчные неприступные снъга горъ и величавую женшину въ той первобытной красотъ, въкоторой должна была выйти первая женщина изъ рукъ своего Творца, и тогда ясно станеть, кто себя губить, кто живеть въ правде или во лжи-вы

или я... Надо видѣть и понять, что такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастья и за меня, и за себя. Счастье—это быть съ природой, видѣть ее, говорить съ ней»... 11). И это первый членъ его новаго символа вѣры—его эстетическое оправданіе идеи «опрощенія»; пройдеть много лѣть—и эту же идею Толстой будетъ обосновывать уже не на эстетическихъ, а на этическихъ началахъ. Но и теперь у него есть этическій мотивъ, второй членъ его символа вѣры: «счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ»—то самое, что говорилъ уже герой «Юности», и что будетъ повторять Толстой въ старости.

«Счастіе въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человъка вложена потребность счастія; стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то-есть отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можеть случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будеть удовлетворить этимь желаніямь. Слёдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастія незаконна. Какія-же желанія всегда могуть быть удовлетворены, несмотря на внешнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе»! 12). Хорошо было пропов'вдывать эту истину старику-Толстому; но каково было примънять ее Толстому-Оленину, примиряя эту этическую истину съ первой, эстетической, по которой счастіе есть жизнь въ природ' и съ природой! Какъ соединить мораль «жизни для другихъ» съ жизнью дяди Ерошки, съ его «жизнью для себя»? Въ неумъніи соединить эти два начала-причина раздвоенія Оленина, причина новаго душевнаго кризиса Толстого той эпохи. Иногла Оленинъ забывалъ «этическій» членъ своего символа въры, пробовалъ сливаться съ жизнью дяди Ерошки, но потомъ вдругъ опоминался и тотчасъ-же хватался за мысль сознательнаго самоотверженія. Стоило ему, однако, полюбить красавицу-казачку Марьяну, въ которой онъ увидель олицетворение всего прекраснаго въ природе, чтобы теорія его рухнула, подкопанная съ двухъ сторонъ. Оленинъ поняль, что, отчаливь оть одного берега, отказавшись оть лжи «культурной» жизни, онъ въ то же время не можетъ уже всецѣло стать дядей Ерошкой; а съ другой стороны, страстная любовь ноказала ему, что ни для какого казака Лукашки не можетъ онъ пожертвовать своимъ счастьемъ, что счастье—жить не только для другихъ, но и для себя. Пришло это сознаніе,—и вся моральная теорія, построенная съ такимъ трудомъ, рухнула, какъ карточный домикъ. «Пришла красота и въ прахъ разсѣяла всю египетскую жизненную внутреннюю работу. И сожалѣнія нѣтъ объ исчезнувшемъ! Самоотверженіе—все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью. Жить для другихъ, дѣлать добро! Зачѣмъ? когда въ душѣ моей одна любовь къ себѣ и одно желаніе любить ее и жить съ нею, ея жизнью. Не для другихъ, не для Лукашки я теперь желаю счастья. Я не люблю теперь этихъ другихъ»... 13)

Такъ рѣзко и безпощадно разрушило непосредственное чувство всѣ «египетскія» построенія разума. И отнынѣ передъ Толстымъ будетъ стоять все тотъ-же нерѣшенный вопросъ: какъ соединить «жизнь для себя» и «жизнь для другихъ»? какъ примирить жертву съ личнымъ счастьемъ? Прошло еще тридцать лѣтъ прежде чѣмъ Толстой окончательно рѣшилъ для себя тѣ вопросы, которые ставилъ Оленинъ вслѣдъ за героемъ «Юности»... Когда «Казаки» появились въ печати, Толстой (въ апрѣлѣ 1863 года) писалъ между прочимъ Фету: «Казаки—с ъ с у к р о в и ц е й, хотя и плохо». Эта «сукровица» была въ Толстомъ по существу одна и та же и въ 1852 и въ 1902 году.

Одновременно почти съ «Казаками», немедленно вслъдъ за «Дътствомъ», Толстой начинаетъ писать большой «Романъ русскаго помъщика», но планъ остается невыполненнымъ и осуществляется только фрагментъ—небольшая повъсть «Утро помъщика» (1852 г.). Герой, князь Дмитрій Нехлюдовъ—все тотъ же Л. Толстой, тотъ же Оленинъ до отъъзда на Кавказъ; и попрежнему онъ съ восторгомъ приходить къ уже знакомой намъ мысли, что «любовь и добро есть истина и счастіе», что «любовь, самоотвер-

женіе — воть одно истинное, независимое оть случая счастіе». И попрежнему эта теорія разбивается оть столкновенія съ дъйствительностью-на этоть разъ не съ первобытной природой и первобытной душой человъческой, а лишь съ захудалой русской деревней. Нехлюдовъ «благодътельствуетъ» крестьянамъ и все-таки испытываль въ результатъ только чувство усталости, стыда, безсилія и раскаянія. Отчего это? Тургеневь находиль объяснение (и видълъ нравственный смыслъ разсказа) въ томъ, что, «пока будеть существовать крупостное состояніе, нуть возможности сближенія и пониманія объихъ сторонъ, несмотря на самую безкорыстную и честную готовность сближенія» (письмо Тургенева къ Дружинину отъ 23 января, 1857 г.). Это объясненіе характерно для автора «Записокъ охотника» съ его знаменитой «Аннибаловой клятвой»; но Толстой, разумьется, быль за тысячи версть и отъ этой морали, и отъ подобнаго аболиціонистскато пониманія своего разсказа. Онъ смотръль глубже, онъ безсознательно чувствоваль причину всего не только въ личномъ, но и въ земельномъ рабствъ. Это стало понятнымъ Толстому только много леть спустя, когда имь была резко поставлена и ръшена для себя соціальная проблема. Много льть спустя, когда уже никакого кръпостного права не было, герой «Воскресенія», тоже князь Дмитрій Нехлюдовь, тоже «облагодітельствоваль» крестьянь, отдавь имь свою землю вь аренду «по очень дешевой цѣнѣ», —и онъ тоже остался чѣмъ-то недоволенъ, «чего-то было грустно и чего-то стыдно»; но тогда Толстой уже зналъ причины этого, зналъ, что всякая «жертва» должна идти до конца, или вовсе не надо за нее браться. Такъ это или нъть, но ясно, что «сукровица» разділенных другь оть друга полувіномь «Утра помъщика» и «Воскресенія» — одна и таже, постоянная толстовская.

Нъсколько небольшихъ очерковъ кавказской военной жизни закончили собою этотъ періодъ творчества Толстого. Сюда относятся разсказы: «Набътъ» (1852 г.), «Рубка лъса» (1854 — 55 гг.), «Встръча въ отрядъ съ московскимъ знакомымъ» (1856 г.). Все это были только мастерскія пробы пера, небольшіе наброски,

послужившіе впоследствіи только этюдами къ великой эпопев «Войны и мира». Впервые входиль въ русскую литературу типъ «солдата», впервые художественно обрисовывался этотъ особый искусственный міръ, его особенная психологія, отношеніе въ немъ къ жизни и смерти; но всюду за этимъ особеннымъ, частнымъ Толстой умъль показывать общее, человъческое, всюду «быть» приводиль его къ последнимъ, крайнимъ проблемамъ человеческой мысли. «Война»---въдь это самая острая постановка вопроса о жизни и смерти, того вопроса, который только и занималь Толстого съ начала и до конца его жизни и дъятельности; а какой же изъ вопросовъ не связанъ въ свою очередь съ вопросомъ о жизни и смерти? Такъ, напримъръ, въ «Набътъ», заговоривъ о войнь, какь о непонятномь, неестественномь и несправедливомъ по существу явленіи, которое кажется естественнымъ только отъ своего постоянства, понятнымъ только отъ своей обыденности и справедливымъ только отъ чувства самосохраненія, Толстой задумывается наль вопросомь о справедливости массовой и индивидуальной. Русскіе завоевывають Кавказь, обезпечивая этимь «богатыя и просвъщенныя русскія владьнія оть грабежей, убійствъ и набъговъ народовъ дикихъ и воинственныхъ»; фейерверкеръ 4-ой батареи, Толстой, находить, что это «справедливо»... Но туть-же онъ вспоминаеть, что въдь и сами русскіе, «справедливо» завоевывая Кавказь, могуть действовать только путемъ «набъговъ, убійствъ и грабежей»—на то и война, н разсказъ «Набъть» какъ разъ и посвящень описанію такихъ сцень, при взятіи русскими горскаго аула. Что-же, и это тоже «справедливо»?--съ недоумъніемъ спрашиваеть себя Толстой, и, конечно, отвъчаетъ отрицательно. Индивидуальная справедливость-не на сторонъ того блестящаго офицера, который прівхаль на Кавказъ воевать съ горцами отъ скуки и отъ желанія показать свою храбрость; не на сторонъ того адъютанта, который сдълался врагомъ горцевъ только изъ желанія получить поскоръе тепленькое мъстечко и чинъ капитана; не на сторонъ того генерала, который мило-небрежнымь тономъ разрёщаеть вой-

скамь—«пускай грабять»! Индивидуальная справедливость, думаеть Толстой, въ этомъ случав на сторонв того несчастнаго оборванца-горца, который, «услыхавь о приближеніи русскихь, съ проклятіемъ сниметь со стіны старую винтовку..., побіжить навстречу глурамъ и, увидавъ, что русскіе все-таки идуть впередъ, подвигаются къ его засъянному полю, которое они вытопчуть, къ его саклъ, которую сожгуть, и къ тому оврагу, въ которомъ, дрожа отъ испуга, спрятались его мать, жена и дъти, подумаеть, что все, что только можеть составить его счастіе, все отнимуть у него-въ безспльной злобъ, съ крикомъ отчаянія сорветь съ себя оборванный зинунишко, бросить винтовку на землю и, надвинувъ на глаза напаху, запоеть предсмертную пъсню и съ однимъ кинжаломъ въ рукахъ, очертя голову, бросится на штыки русскихъ.». .¹⁴) На его сторонъ справедливость, —и она-же на сторонъ его враговъ. Что-же ? Или есть двъ справедливости? и здъсь все тотъ-же неръщенный двойственный вопросъ? И какъ соединить двъ эти справедливости въ одну великую и единую Правду? Вопросы эти, рожденные эрълищемъ войны, Толстой опять-таки ръшиль для себя только черезъ много десятковъ лътъ, когда окончательно пришелъ къ въръ въ абсолютное значеніе великой запов'єди-«не убій».

Если разсказы изъ кавказской военной жизни оказались только этюдами для предпринятой десятью годами позднѣе эпопеи «Войны и мира», то севастопольскіе разсказы (1854—1855 гг.), тоже сыгравшіе впослѣдствіи роль этюдовъ къ той же эпопеѣ, сами по себѣ были настолько замѣчательны, что не могли не обратить на себя восторженнаго вниманія общества пятидесятыхъ годовъ. Они-то собственно и составили славу Толстого, выдвинули его въ первый рядъ литературы того времени. Экспансивный Тургеневъ «прослезился и кричалъ: ура!», читая эти севастопольскіе разсказы, ипохондрикъ Писемскій ворчливо выражалъ опасеніе, что «этотъ офицеришка всѣхъ насъ заклюеть, хоть бросай перо», а осторожный и недовѣрчивый Некрасовъ писалъ автору, что «вы начинаете такъ, что за-

ставляете самыхъ осмотрительныхъ людей заноситься въ надеждахъ очень далеко»: уже по одному этому можно судить о впечатлѣніи, произведенномъ севастопольскими разсказами Толстого. Это была первая въ русской литературъ потрясающая правда о войнь — и первая по силь, быть можеть, не въ одной русской литературъ. Стэндаль въ своей «Chartreuse de Parme» сдълаль этомъ направленіи только первые шаги; севастопольскіе разсказы были продолжениемъ, «Война и миръ»—высшей точкой этого пути. До Толстого въ русской литературъ войну романизировали; даже великій реалисть Пушкинъ въ своемъ «Путешествіи въ Арзрумъ» набросилъ романтическій флеръ на описаніе войны. Впрочемъ, онъ настоящей войны и не видълъ. Надо было великому художнику попасть въ осажденный Севастополь, чтобы понять, что такое война, и описать ее съ потрясающимъ, безпощаднымъ реализмомъ. Толстой сумъль показать, что война-это вовсе не театральное геройство «мюратовскаго» образца, такъ осмъянное впослъдствии имъ въ «Войнъ и миръ»; война — это незамътное, молчаливое исполнение «долга» — долга принять смерть — тысячами сърыхь, незамътныхъ людей; въ то же время война-это интриги, аристократизмъ штабныхъ бълоручекъ, интендантское воровство, игра честолюбія и тщеславія; но прежде всего и посл'ь всего война — это безсмысленная, случайная смерть, безпощадныя страданія, увічія, раны, озвіреніе, гибель. И если въ первомъ очеркъ «Севастополь въ декабръ 1854 года» главной темой является молчаливое геройство незамътныхъ людей, то остальвыя изъ указанныхъ темъ преобладають во второмъ и третьемъ изъ севастопольскихъ разсказовъ. И если въ первомъ очеркъ авторъ еще хотвль показать духовную «силу русскаго народа», то во второмъ и третьемъ очеркахъ настроение его уже другое: слишкомъ много страданій, убійства, труповъ видъль онъ для того, чтобы оправдать ихъ какимъ бы то ни было высокимъ словомъ. И лучшимъ объясненіемъ смысла этихъ двухъ послъдсевастопольскихъ разсказовъ является заключительная сцена средняго очерка: по заваленной трупами цвътущей долинъ

ходить, во время короткаго перемирія, десятильтній мальчуганъ собираетъ полевые цвъты и долго смотритъ на страшные трупы, потомъ пугается и, спрятавъ лицо въ цвёты, съ крикомъ овжить прочь... Смысль всего этого ужаса войны, быть можеть, и могуть понять (на словахь) принимающіе въ ней участіе люди, но авторъ не съ ними, а съ этимъ десятилътнимъ мальчуганомъ. «На бастіон'в и на транше выставлены б'влые флаги, цв втущая долина наполнена мертвыми твлами, прекрасное солнце спускается къ синему морю, и синее море, колыхаясь, блестить на золотыхъ лучахъ солеца. Тысячи людей толпятся, смотрять, говорять, и улыбаются другь другу. И эти люди, христіане, испов'єдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія, глядя на то, что они сделали, съ раскаяніемъ не упадуть вдругь на колени передъ Тъмъ, Кто, давъ имъ жизнь, вложиль въ душу каждаго вмъсть съ страхомъ смерти любовь къ добру и къ прекрасному, и со слезами радости и счастія не обнимутся, какъ братья? Бълые флаги спрятаны, и снова свистять орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія...»

Такъ заканчиваетъ Толстой второй изъ своихъ севастопольскихъ разсказовъ. Слишкомъ ясно слышенъ за этими словами вопросъ автора Тому, Кто допускаетъ людей лить невинную кровь. И если еще въ отрочествъ Толстого-мы видъли-первыя религіозныя сомнібнія его были вызваны несправедливой обидой, приведшей къ мысли о несправедливости Провиденія, то насколько же должны были усилиться эти сомнёнія и перейти въ прямое отриданіе при созерданіи этой массовой обиды, этой величайшей въ мір' несправедли вости-убійства челов' комъ человъка? Слабый человъкь могь схватиться за въру въ севастопольской бойнь, сильный — могь потерять тамь послъднюю въру. Толстой же никогда не быль слабымь человъкомь. Правда, иногда ВЪ САМУЮ МИНУТУ ОПАСНОСТИ, ДЕЖУРЯ НА ЗНАМЕНИТОМЪ ЧЕТВЕРТОМЪ бастіонъ, онъ взываль къ Богу съ молитвой, благодарилъ за покровительство и просиль: «не остави меня, Боже, напутствуй меня не для удовлетворенія моихъ ничтожныхъ стремленій, а

для достиженія вѣчной и великой, невѣдомой, несознаваемой мною цѣли бытія» (Дневникъ 11—14 апрѣля 1855 г.), — но это были уже послѣднія вспышки вѣры. И нельзя не связать именно съ Севастополемъ того обстоятельства, что именно къ 1856 году сходить на нѣтъ былая вѣра Толстого въ благое Провидѣніе, въ мадовоздаятеля Бога.

Кризисъ этотъ подготовлялся постепенно. Въ «Исповъди» Толстой разсказаль, что потеря въры въ церковное учение произсшла съ нимъ еще въ возрастъ 16—18 лътъ; но мы знаемъ изъ его писемъ и дневниковь, что это еще не было потерей въры въ Бога. «Я не въриль въ то, что мнъ было сообщено съ дътства, но я въ риль во что-то. Во что я въриль, я никакь бы не могь сказать. Върилъ я и въ Бога, или, скоръе, я не отрицалъ Бога, но какого Бога, я бы не могь сказать» («Исповъдь»). И въ минуту жизни трудную молодой Толстой (до 1856 года) обращается къ невъдомому Богу съ молитвами и наивными просьбами-о спасеніи отъ карточнаго проигрыша, объ уплатъ по проигранному векселю; и когда «просьба» эта оказывается исполненной ante factum, до молитвы онъ все-таки горячо благодаренъ Богу и говорить, что такой случай «m'aurait fait croire en Dieu, si je n'v déjà crovais fermement depuis auelaue t е m р s».15) Это было еще очень наивно, очень по-дътски; но въ дневникахъ того же времени мы видимъ и болъ е глубокіе запросы, сомнінія, рішенія. Вопрось о злів, о страданіяхь, такь фатально сталкивающійся во всякой религіозной душт съ понятіемъ благого Бога, не могъ миновать Толстого; онъ пытался такъ или иначе отвътить на этоть вопросъ для самого себя. «Страданія необходимы, —пишеть онъ въ дневник 11 іюня 1851 года. — Зачъмъ? Не знаю. И какъ я смъю говорить: не знаю! Какъ смълъ я думать, что можно знать пути Провиденія! Оно источникъ разума, и разумъ хочетъ (его) постигнуть!..»

Но такая въра была у него уже на исходъ. Ему надо было попасть въ Севастополь, увидъть сотни и тысячи труповъ, чтобы въ душъ его завершился уже давно развивавшійся процессъ,

чтобы соверпился первый главный кризись его жизни: потеря въры въ Бога. Но, по позднъйшимъ словамъ самого Толстого, человъкъ безъ религіи — химера, потеря одной въры есть всегда сознательно или безсознательно замъна ея другой. Такъ случилось и съ Толстымъ. Въру въ благого Бога замънила ему въра въ благодътельный прогрессъ человъчества. Съ этой въры начался новый—петербургскій и заграничный—періодъ жизни и творчества Л. Толстого.

«Двадцати шести лѣть—вспоминаль впослѣдствіи Толстой—я пріѣхаль послѣ всйны въ Петербургь и сошелся съ писателями. Меня приняли, какъ своего»... И Толстой подробно разсказываеть, какъ онъ, въ свою очередь, приняль ту «вѣру», которая является присущей большинству образованнаго общества. «Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ прогресстви. («Исповѣдь»). Подъ знакомъ этой вѣры Толстой, по его же собственному указанію, прожилъ шесть лѣтъ; и эта эпоха, 1856—1862 гг., занимаетъ особое мѣсто и въ жизни, и въ творчествѣ Толстого.

Это были знаменитые шестидесятые годы, когда дъйствительно понятіе «прогресса» носилось въ воздухъ, когда приложеніе этого понятія стало хоть въ малой степени осуществимо въ жизни для проснувшагося русскаго общества. Тенденція разсматривать великихъ людей внъ эпохъ общественнаго развитія ихъ времени терпить фіаско во всъхъ случаяхъ,—а особенно въ приложеніи къ Толстому. Внъ эпохи шестидесятыхъ годовъ непонятна его «въра въ прогрессъ», внъ этой эпохи невозможны его замъчательныя построенія народническихъ теорій, внъ этой эпохи немыслимы его педагогическія воззрънія,—о чемъ ниже еще будетъ ръчь. Но всъ эти теоріи и воззрънія, объясняемыя духомъ эпохи, не могли бы пустить корни въ душъ Толстого, если бы зерна ихъ не лежали въ ней уже съ давнихъ поръ.

Такъ было и съ «върой въ прогрессъ». Въдь по своимъ формамъ эта въра въ прогрессъ мало чъмъ отличается отъ той въры въ самосовершенствованіе, которую мы видёли въ геров «Юности» и которую увидимъ въ Толстомъ-старцъ. «Все развивается, и я развиваюсь; а зачёмъ это я развиваюсь вмёстё со всёми, это видно будеть», — такъ иронически формулировалъ Толстой въ «Исповъди» свою былую въру въ прогрессъ; но въдь буквально въ этой же формъ можетъ быть выражена его постоянная въра въ совершенствование: все совершенствуется, и я совершенствуюсь; а зачёмъ это я совершенствуюсь вмёстё со всёми, это видно будеть—видно во всякомъ случав Богу. Неудивительно поэтому, что въра въ прогрессъ могла пустить глубокіе корни въ душъ Толстого. Когда онъ 17 апръля 1847 года писалъ въ своемъ дневникъ, что «цъль жизни есть сознательное стремленіе къ всестороннему развитію всего существующаго», онъ выявлялъ этимъ то зерно «въры въ прогрессъ», которое дало ростки десятью годами поздне. За быстрымъ кризисомъ этой новой веры намъ теперь предстоить проследить и по художественнымь произведеніямъ Толстого, и по его письмамъ и дневникамъ, и по его стать-AMB.

Прівхавь въ 1856 году въ Петербургъ, Толстой приступиль къ окончанію своей трилогіи, а закончивъ «Юность», написаль нъсколько сравнительно небольшихъ вещей — разсказы и повъсти «Метель», «Записки маркера», «Два гусара», «Альберть» (1856 г.). Это вещи разнаго художественнаго достоинства, но замъчательныя во многихъ отношеніяхъ. Въ «Метели» — тонкое, филигранное мастерство безъ какого бы то ни было «содержанія», въ смыслъ фабулы. Вьюга, снъть, поле, ночь, тройка, замирающій звонь колокольчиковъ, спина ямщика, смѣна мыслей и сновъ автора надо было появиться въ русской литературъ Толстому, чтобы показать возможность той изумительной тонкости письма, съ которой написана вся эта картина, якобы безъ «содержанія». Мы коснемся еще этой тонкости письма, этой способности отъ самаго грубаго внёшняго впечативнія перейти къ самому тонкому внутреннему движенію души. Въ «Метели» черта эта сказалась особенно сильно, хотя самъ авторъ и остался недоволенъ

разръщениемъ поставленной имъ себъ задачи. («Какъ понравилась тебъ «Метель?» Я ею недоволенъ — серьезно», писаль Л. Толстой брату Сергию 25 марта 1856 года.) Настолько же остался онъ недоволенъ и «Записками маркера», которыя являются какъ бы эпилогомъ къ «Утру помъщика». Устами бильярднаго маркера-очень колоритно и тонко-Толстой разсказываеть о самоубійствъ князя Нехлюдова, быть можеть, того самаго, который такъ и не сумълъ «облагодътельствовать» своихъ крестьянь въ деревив. И въ этомъ разсказв, несомивнио, есть автобіографическія черты. Конечно, Толстой никогда не доходиль до трактирныхъ униженій князя Нехлюдова, никогда не думаль по этому поводу о самоубійствъ, но жизнь въ Петербургъ онъ вель весьма «безпутную», чтобы не сказать больше. «Вернулся онъ изъ Севастополя съ батареи, остановился у меня-разсказываль тогда же Тургеневь-и пустился во всв тяжкія. Кутежи, пыгане и карты во всю ночь; а затъмъ до двухъ часовъ дня спитъ, какъ убитый. Старался удерживать его, но теперь махнулъ рукой»... Эта безпутная жизнь тяжелье всего была самому Толстому; онъ самъ съ ненавистью отзывался тогда о «проклятомъ Петербургъ», самъ осуждалъ свои кутежи, но не переставалъ въ то же время и развиваться внутренно. Со стороны были видны только кутежи и «вся тяжкая», а духовное развитіе могь сознавать только самъ Толстой, записывавшій, между прочимъ, въ своемъ дневникъ 4 янв. 1857 г.: «я ръшительно счастливъ все это время, упиваясь быстротой моральнаго движенія впередъ». Уже по одному этому Толстой не быль, конечно, Нехлюдовымъ изъ «Записокъ маркера»; но многія черты жизни Толстого 1856 года, несомнънно, были обрисованы имъ въ этомъ типъ. Впрочемъ, этоть разсказь не имъеть особенно большого значенія — ни художественнаго, ни автобіографическаго-среди другихъ произведеній Толстого.

Другое дёло—написанная тогда же пов'єсть «Два гусара», которой, повидимому, и самъ авторъ остался доволенъ. Въ первой половинъ — это великол'єпный историческій жанръ, день и под-

виги гусара типа Дениса Давыдова «въ губерніи», въ двадцатыхъ годахъ прошлаго въка. Прототиномъ для этого гусара, графа Федора Турбина, послужиль, в роятно, знаменитый въ двадцатыхъ годахъ графъ Федоръ Толстой 16), «американецъ», которому посчастливилось попасть и въ «Горе отъ ума» («алеутъ»), и въ «Евгенія Онъгина» (Зарьцкій), и впосльдствін—въ «Войну и миръ» Толстого (Долоховъ). Такимъ образомъ повъсть «Два гусара» послужила тоже какъ бы этюдомъ къ «Войнъ и миру»; но она имъеть и свое самостоятельное значение, какъ цъльное, законченное, мастерское произведение. Вторая половина повъсти описываетъ следующее поколение гусаровъ-день и подвиги сына графа Турбина. Но, конечно, дело здесь не въ гусарахъ, а въ людяхъ; дело въ сравнени поколения двадцатыхъ и пятидесятыхъ годовъ Разгулъ, кутежъ, безумная щедрость, беззаботность, благородство стараго гусара и разсчетливость, холодность, брюзгливость, аккуратность и вообще «рыбья кровь» его сына двадцать-тридцать лъть спустя: въ этомъ сопоставленіи, проведенномъ красочно и убъдительно, видны двъ черты, которыя могли занимать Толстого въ то время. Первая — нъкоторое pro domo sua: кутежи самого Толстого, о которыхъ мы упоминали выше, подходили, конечно, къ типу графа Федора Турбина, а не его холоднокровнаго сына; Толстой, быть можеть, безсознательно, оправдываль самь себя и свое поведение. Вторая, болже важная черта — слегка ироническое отношение Толстого къ тому самому «прогрессу», въ который онъ, по его же словамъ, такъ твердо увъровалъ въ это время. Хорошъ прогрессъ окружающихъ формъ жизни, который сопровождается регрессомъ нравственной личности людей!-воть что какъ будто хочеть сказать Толстой своей пов'єстью и несомн'єнно говорить это: стоить только обратить внимание на первую, вводную страницу къ повъсти, гдѣ авторъ иронически сравниваетъ «культуру» своего времени съ любезнымъ простодущіемъ дѣдовскихъ временъ 17).

Дев совершенно такія же черты мы находимъ и въ написанномъ тогда же разсказв «Альбертъ», гдв Толстой описаль исторію, случившуюся съ нимъ самимъ въ 1848 году, когда онъ увезъ изъ Петербурга въ Ясную Поляну талантливаго и пьющаго запоемъ нізмца-музыканта Рудольфа. Въ разсказів Альбертъ в Пелесовъ-это, конечно, Рудольфъ и самъ Толстой, при чемъ «добрый» поступокъ Делесова, желающаго «спасти» съ высоты своего величія погибающаго отъ вина музыканта, осв'вщаетсякакъ и въ «Утръ помъщика»-такъ, что читателямъ сразу видна его, этого поступка, отридательная сторона. Насильно дълая добро и не умъя облечь его въ пріемлемыя формы, Делесовъ разочаровывается въ своемъ добромъ поступкъ и смотритъ на Альберта, какъ на мертваго человъка, которому ничъмъ помочь нельзя. Но художникъ-Толстой знаеть, что пьяный, несчастный Альберть болье живь, чыть благотворящій ему Делесовь, и послъдняя сцена разсказа-сны пьянаго Альберта-достаточно выясняеть взглядь автора. «Онь, какь соломинка, сгоръль весь отъ священнаго огня... Опъ исполнилъ все то, что было вложено въ него Богомъ. Онъ счас ливъ и добръ... Онъ любитъ одно-красоту, единственное несомнънное благо въ міръ... Онъ вамъ жалокъ кажется, вы его презираете, а онъ лучшій и счастливъйшій»... Такой голось - голось автора - слышить Альбергъ въ своемъ пьяномт снъ на ступеняхт лъстницы дома терпимости; и го ось этоть заглушаеть порицающія слова Делесова, который указываеть, что Альберть не принест пользы обществу, вель себя нечестно, стыдно, что это человъкъ опустившійся, мертвый. «Да я живъ, зачъмъ же хоронить меня», -послъднія слова соннаго Альберта и последнія слово разсказа. И Альберть, погибающій герой искусства, поистин' живъ - бол' живъ, чъмъ многіе окружающіе его люди.

Можно предполагать, что разсказъ этоть является автобіографическимъ, такъ сказать, съ двухъ сторонт. Что Делесовъ—самъ Толстой, это мы уже видъли; но что и Алібертъ — тоже Толстой, это, повидимому, несомнънно. Подобно тому, какъ въ «Двухъ гусарахъ» Толстой далъ, безсознательно быть можетъ, апологію своей петербургской жизни 1856 года, такъ и въ «Альбертъ» онъ

даль ту же апологію, но подъ другимъ угломъ зрвнія, развивая тему пушкинскаго «Моцарта и Сальери». Да, какъ бы говорить онъ намъ, вдохновеніе часто озаряеть голову «безумца», гуляки празднаго», и уже по одному этому пьяный Альберть на ступеняхъ притона разврата-«лучшій и счастлив'вйшій»... Конечно, не Толстой спаль на этой лестнице, точно такъ же какъ не онъ стрёляль въ себя въ бильярдной комнате «Записокъ маркера»: но несомнънно-мы видъли это-и въ томъ, и въ другомъ случаъ есть много элементовъ авторскаго pro domo sua. Въ «Альбертв» это особенно ясно, такъ какъ апологія искусства или, върнъе, освящение всякой, самой безпутной жизни искусствомъ («священный дарь озаряеть голову безумца, гуляки празднаго»). апологія, которую мы имфемъ въ этомъ разсказф, вполнф совпадаеть съ теми мыслями, которыя Толстой, по позднейшему своему признанію, тогда испов'ядываль. Объ этомъ въ «Испов'ьди» онъ достаточно подробно говоритъ, заключая свои воспоминанія тімь, что «віра эта въ значеніе поэзіи и въ развитіе жизни была въра, и я быль однимъ изъ жрецовъ · ея»... Нельзя не зам'втить только, что въ «Альбертъ» въра въ значение поэзім не совпадаеть съ върой въ развитие жизни, то-есть, иными словами, съ върой въ прогрессъ. Уже въ «Двухъ гусарахъ» прогрессь культуры противопоставлялся регрессу человъка; несомивнно, что и въ «Альберть» мы имвемь подобное же косвенно-отрицательное отношение автора къ понятию «пропрогрессъ общества, хорошо общество, въ гресса»: хорошъ которомъ «лучшимъ и счастливъйшимъ» можно быть только въ образъ издерганнаго и изломаннаго Альберта!

Изучая эти разсказы, мы приходимъ къ неожиданному и противоръчивому выводу: Толстой, по собственному своему категорическому утвержденію, «въритъ въ прогрессъ», живетъ этой върой цълыхъ шесть лътъ (1856—1862 г.), и вдругъ тутъ же, въ первый же годъ этой новой своей въры, онъ въ своихъ разсказахъ пронически или отрицательно относится къ объекту своей въры! Это можетъ быть странно, но это дъйствительно такъ. Въ худо-

жественной дѣятельности Толстого съ самаго же начала «новой вѣры» совершалась работа постепеннаго развѣнчанія и разрушенія ея; новый кризись подготовлялся съ самаго же начала. Толстой вѣрилъ въ прогрессъ, но не могъ не видѣть отрицательныхъ сторонъ окружающаго его общества; мало того—не могъ онъ не увидѣть отрицательныхъ сторонъ всего современнаго соціальнаго строя. Сильно и ярко сдѣлалъ онъ это впервые въ своемъ замѣчательномъ разсказѣ «Люцернъ».

Въ началъ 1857 года Толстой уъхалъ за-границу и въ теченіе полугода объъхалъ Германію, Францію, Швейцарію. Два событія произвели на него во время этого путешествія особенно сильное впечатльніе: это, во-первыхъ, смертная казнь, которую онъ видълъ въ Парижъ, и, во-вторыхъ, тотъ случай, свидътелемъ котораго онъ былъ въ Люцернъ и который описанъ въ этомъ его разсказъ отъ лица снова воскрешеннаго имъ князя Д. Нехлюдова.

«Седьмого іюля 1857 года въ Люцери**ъ** передъ отелемъ Швейцергофомъ, въ ромъ останавливаются самые богатые люди, странствующій нищій пъвець въ продолженіе получаса пълъ пъсни и игралъ на гитаръ. Около ста человъкъ слушали его. Пъвецъ три раза просилъ всъхъ дать ему что-нибудь. Ни одинъ человъкъ не ему ничего, и многіе см вялись надъ нимъ... Воть событіе, которое историки нашего времени должны записать огненными, неизгладимыми буквами. Это событе значительнъе, серьезне и иметь глубочайший смысль, чемь факты, записываемые въ газетахъ и исторіяхъ»... Такъ писалъ и подчеркиваль Толстой въ этомъ своемъ разсказъ «Люцернъ», и почти тъми же словами вскрываль онь ту же глубокую бользнь современнаго общественнаго организма и полувъкомъ позднъе. Въ Люцернь онь получиль только первый ударь, первое висчатльніе оть мелкаго, казалось бы, факта — и сразу поняль, что «что-то

не такъ» во всей нашей цивилизаціи, во всемъ стров общества. Онъ видълъ, что «событіе, происшедшее въ Люцернъ 7-го іюля», которое ему казалось «совершенно ново и странно», —онъ видель, что событіе это «относится не къ въчнымъ дурнымъ сторонамъ человъческой природы, но къ извъстной эпохъ развитія общества; это фактъ не для исторіи дъяній людскихъ, но для исторіи прогресса и цивилизаціи». Но именно потому и осудиль онь эту цивилизацію, именно потому, что «этоть безчеловічный факть, невозможный ни въ какой деревнъ нъмецкой, французской или итальянской, возможенъ здёсь, гдё цивилизація, свобода и равенство доведены до высшей степени»... А если такъ, то почему же—спрашиваеть Толстой, --почему же следствие прогресса, «цивилизація»—благо, а не зло? «И кто опредълить мнъ, что свобода, что деспотизмъ, что пивилизація, что варварство? И гдв границы одного и другого? У кого въ душъ такъ непоколебимо это мърило добра и зла, чтобы онъ могь мърить имъ бъгущіе, запутанные факты?» Одно остается въчнымъ въ этой бъгущей смънъ явленій жизни-красота, поэзія (здёсь тема «Люцерна» соприкасается съ темой «Альберта») ибо за тѣ самыя деньги, которыхъ богачитуристы не дали нищему пъвцу, за тъ самыя деньги, будь ихъ хоть милліоны рублей, нельзя совершить того, что дізлаеть съ людьми красота Швейцаріи или простая, но полная поэзіи пъсня странствующаго пъвца. «Зачъмъ вы всъ покинули свое отечество, родныхъ, занятія и денежныя діла и столиились въ маленькомъ швейцарскомъ городкъ Люцернъ? Зачъмъ вы всъ нынче вечеромъ высыпали на балконы и въ почтительномъ молчаніи слушали п'єсню маленькаго нищаго?.. Что за деньги, хоть за милліоны, вась можно бы было всёхь выгнать изъ отечества и собрать въ маленькомъ уголкъ Людернъ? За деньги васъ можнобы было всёхъ собрать на балконахъ и въ продолжение получаса. заставить стоять молчаливо и неподвижно? Нѣтъ! А заставляетъ вась действовать одно, и вечно будеть двигать сильнее всёхъ другихъ двигателей жизни-потребность поэзіп, которую вы не сознаете, но чувствуете и въкъ будете чувствовать, пока въ васъ

останется что-нибудь человъческое»... Поэзія въчна—и въченть высшій источникъ ея—Всемірный Духъ, въ которомъ синтезируются всё противоръчія жизни и создается всеобщая гармонія— гармонія цивилизаціи съ варварствомъ, свободы съ неволей, нищеты пъвца съ внутреннимъ міромъ его души, пресыщеннаго богатства съ тусклой, скучной жизнью. Но эти гармонія и синтезъ достигаются не благодаря прогрессу, а независимо отънего, быть можеть, даже вопреки ему. «Безконечна благость и премудрость Того, Кто позволилъ и велълъ существовать всъмъ этимъ противоръчіямъ»...

Такъ заканчивается этотъ замъчательный разсказъ, въ которомъ Толстой столь скептически относится къ своей новой въръ въ благодътельный прогрессъ и почти возвращается къ недавно покинутой въръ въ благого Бога. Эта послъдняя въра не могла усилиться отъ другого событія, особенно сильно повліявшаго въ то время на Толстого, но и въра въ прогрессъ пошатнулась отъ этого же событія еще больше. Событіе это — зрълище смертной казни, которую Толстому случилось видёть въ Париже 6 апреля 1857 года. Въ дневникъ этого числа Толстой записалъ: стая, бълая, здоровая шея и грудь, цъловалъ Евангеліе и потомъ смерть. Что за безсмыслица. Сильное и не даромъ прошедшее впечатленіе»... «Зрелище гильотинированія такъ подействовало на меня, что я ночи не спалъ», писалъ тогда же Толстой своей. сестръ (письмо отъ 2 мая 1857 г.). Чтобы потерять-хоть на времявъру въ благого Бога, Толстому достаточно было попасть въ Севастополь; чтобы потерять въру въ прогрессъ, достаточно былопопасть на эрълище гильотинированія. «Въ бытность мою въ-Парижь, -- вспоминаль впоследстви Толстой въ «Исповеди», -видъ смертной казни обличилъ мнъ шаткость моего суевърія прогресса. Когда я увидаль, какь голова отдёлилась оть тёла и то, и другое врозь застучало въ ящикъ, я понялъ-не умомъ, а всёмъ существомъ-что никакія теоріи разумности существующаго и прогресса не могуть оправдать этого поступка, и чтоесли бы всв люди въ мірв по какимъ бы то ни было теоріямъ,

съ сотворенія міра, находили, что это нужно—я знаю, что это не нужно, что это дурно, и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорять и дѣлають люди, и не прогрессь, а я со своимъ сердцемъ».

Какъ въ Севастополъ, такъ и въ Парижъ с мерть человъка, смерть людей нарушила въру Толстого. Скоро еще одно событіе такого же рода легло на въсы, чтобы ускорить наступленіе новаго кризиса въ его міропониманіи. «Другой случай сознанія недостаточности для жизни суевърія прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человекь, онъ заболёль молодымъ, страдалъ болъе года и мучительно умеръ, не понимая, зачъмъ онъ жилъ, и еще менъе понимая, зачъмъ онъ умираетъ. это были-прибавляеть Толстой-только редкие случаи сомнінія, въ сущности же я продолжаль жить, исповідуя только въру въ прогрессъ». Въ Людернъ онъ усомнился въ содіальныхъ основахъ прогресса, въ Парижъ усомнился въ этическихъ и религіозныхъ его обоснованіяхъ; дневники и письма Толстого той эпохи проникнуты мрачными, отчаянными мыслями невёрія въ жизнь. «Къ чему все это, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончится ничтожествомъ нулемъ для себя». — писалъ Толстой Фету 17 окт. 1860 года. И еще, въ томъ же письмъ: «хуже смерти ничего нътъ. А какъ хорошенько подумать, что она все-таки конець всего, такъ и хуже жизни пичего нътъ»... Хорошо тъмъ, кто можетъ тъшить себя мыслью о загробномъ свиданіи, «а мои мертвые исчезли, какъ сгоръвшее дерево», —писаль въ тоть же день Толстой въ другомъ нисьмъ. Дорого даль-бы теперь Толстой, чтобы вернуться къ прежней въръ, о которой всего годомъ ранъе онъ говорилъ, какъ о твердомъ, въчномъ фактъ: «я нашелъ, -- говорилъ Толстой о своихъ религіозныхъ исканіяхъ эпохи кавказской жизни, -я нашель простую, старую вещь, но которую я знаю такъ, какъ никто не знаетъ, -- я нашелъ, что есть безсмертіе»... (письмо къ гр. А. А. Толстой отъ мая 1859 года). Но вотъ прошло всего полтора года, и въ письмъ къ той же собесъдницъ Толстой говорить

о мертвыхъ, исчезающихъ, какъ сгоръвшее дерево... Черезъ
нъсколько лътъ Толстой снова пишетъ ей же о своемъ возрожденномъ знаніи: «я теперь уже знаю, что у меня есть душа и безсмертная, и знаю, что есть Богъ» (письмо оть 14 ноября 1865 г.); но и
эта воскресшая въра снова погибла, такъ же какъ и въ первый
разъ. Геніально сказалъ самъ о себъ Толстой въ отмъченномъ
выше письмъ 1859 года: «ж и з н ь у м е н я д ъ л а е тъ р ел и г і ю, а н е р е л и г і я ж и з н ь»... И теперь, послъ
зрълища смертной казни, послъ смерти брата—жизнь привела
его къ временной вспышкъ религіи отчаянія, безвърія, къ отрицанію самой жизни. А жить надо было, и хотълось жить.

Въ этомъ настроеніи полу-въры и полу-невърія были созданы Толстымъ художественныя произведенія 1859—1861 гг.: разсказъ «Три смерти», повъсть «Поликушка», романъ «Семейное счастіе» и исторія «Холстомъра». Романъ «Семейное счастіе» (1859 г.) наименъе извъстное изъ всъхъ произведеній Толстого. Въ романъ этомъ Толстой продолжиль до возможнаго пересъченія съ жизнью тоть дъйствительный романь, который онь пережиль еще въ 1856 г. Любовь его къ свътской барышнъ В. Арсеньевой едва не закончилась бракомъ; они разошлись только потому, что невъста Толстого оказалась слишкомъ склонной къ свётскимъ развлеченіямъ, а перевоспитать ее Толстой, какъ ни старался, не могъ. Что было бы, если бы они не разошлись?—на эту тему написанъ романъ «Семейное счастіе». Героиня (во второй части романа) также увлечена свътской жизнью, мужъ также тщетно ее перевоспитать и, наконець, предоставляеть сдёлать это самой жизни. «Всвмъ намъ, -- говорить онъ потомъ женв, -- особенно вамъ, женщинамъ, надо прожить самимъ весь вздоръ жизни, для того чтобы вернуться къ самой жизни; а другому върить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этотъ прелестный н милый вздоръ, и я оставлять тебфвыживать его и чувствовалъ, что не имълъ права стъснять тебя, хотя для меня уже давно прошло время»... Въ этихъ словахъ-вся суть романа, который кончается возвращеніемъ жены къ семейнымъ пенатамъ; мужъ съ

женой сторонятся отъ жизни и дають дорогу новому поколенію своимъ дътямъ. Романъ этотъ, несмотря на прелестную поэтическую первую часть, вполнъ заслуженно затъненъ другими произведеніями Л. Толстого; причина этого та, что онъ почти совсъмъ лишень обычной толстовской «сукровиды». Тёмъ не менёе онъ имъетъ несомнънное автобіографическое значеніе, которое станеть еще яснъе посяв опубликованія неизданной досель переписки между Л. Н. Толстымъ и его временной невъстой. —Самъ Толстой очень низко цениль это свое произведение. «Горе у меня, —писаль онь 3 мая 1859 г. своей родственниць, гр. А.А. Толстой: — моя «Анна» (такъ называлъ Толстой романъ «Семейное счастіе»), какъ я прівхаль въ деревню и перечель ее, оказалась такая постыдная гадость, что я не могу опомниться отъ сраму, и, кажется, больше никогда писать не буду. А она ужъ напечатана. И въ этомъ не утёшайте меня. Я знаю, что я знаю»... 18). Это строго, но близко къ истинъ: романъ этотъ значительно ниже таланта Толстого, романъ блъдный, безкровный и совершенно лишенный обычной толстовской «сукровицы».

Зато безспорно съ «сукровицей»—два другихъ произведенія той же эпохи: разсказъ «Три смерти» (1859 г.) и повъсть «Поликушка». Проблема смерти и проблема смысла смерти не переставала мучить Толстого послъ Севастополя, послъ Парижа. Какъ, на какой почвъ можно примириться со смертью? И какія теоріи прогресса могуть помочь въ этомъ дълъ? «Лучшіе и счастливъйшіе» въ жизни-это Альбертъ и нищій пъвець: мы это уже слышали отъ Толстого; пусть такъ, --но кто же лучшіе и счастлигъйшіе въ смерти? Ибо въдь это старая истина, со временъ Солона и Креза, что въ понятіе счастья человъка входить счастливая смерть. На эту тему и написанъ Толстымъ его классическій разсказъ «Три смерти». Тяжело и мучительно умираетъ молодая и богатая дама, судорожно цёпляясь за жизнь, цёпляясь за христіанскія утіненія, умираеть сь отчаяніемь, плачемь, ропотомы на судьбу; просто и спокойно умираеть оть такой же мучительной бользни мужикъ въ тъсной избъ, просто и спокойно смотрятъ

на эту смерть и онъ самъ, и всъ окружающіе его; красиво и покорно умираеть дерево въ лъсу, падая подъ ударами топора на росистую траву. Живыя деревья «еще радостнъе красовались на новомъ просторъ»; взошедшее солнце освътило въчную жизнь въ лъсу, «и вътви живыхъ деревъ медленно, величаво зашевелились надъ мертвымъ поникшемъ деревомъ». Воть — идеалъ смерти, смерти внъ всякихъ ложныхъ утъщеній, смерти на груди природы и въ единствъ съ нею: лучтій и счастливъйтій въ смерти тоть, кто отходить оть жизни просто, спокойно, покорно, величаво, красиво. Живому же остается въ назидание въчная языческая мудрость: спящій въ гробъ мирно спи, жизнью пользуйся живущій. Но и здісь, среди живущихъ,—какая разница между «пользующимся жизнью» мужемь умирающей дамы, который, лицемфрно вздыхая, прожевываеть бутербродь, безсознательно радуясь, что это не онъ, а жена его умираеть; какая разница, повторяю, между этимъ человъкомъ, который якобы «пользуется жизнью», и въчнымъ трепетаніемъ жизни деревьевъ надъ погибшимъ собратомъ! Лучшая и счастливъйшая и жизнь, и смерть только на груди природы, въ въчномъ единени съ нею: такова «сукровица» этого замъчательнаго разсказа Толстого, тоже направленнаго своимт остріемъ противъ духовныхъ результатовъ «цивилизаціи» и прогресса, противъ культуры, уводящей человъка отъ природы.

Но есть еще и другая сторона въ этомъ разсказъ, о которой самъ Толстой говорить въ одномъ изъ своихъ пъсемъ: это —противопоставление христіанскаго языческому, противопоставление тъхъ двухъ членовъ символа въры, которые Толстой тщетно пытался соединить еще вт «Казакахъ». Принципъ этическій—христіанство, эстетическій—язычество: примиримы ли они? и какъ? и почему? Вотъ что говоритъ самъ Толстой объ этомъ своемъ разсказъ: «моя мысль была: три существа умерли—барыня, мужикъ и дерево. Барыня жалка и гадка, потому что лгала всю жизнь и лжетъ передъ смертью. Христіанство, какъ она его понимаетъ, не ръщаетъ для нея вопроса жизни и смерти. Зачъмъ умирать,

когда хочется жить? Въ объщанія будущія христіанства она върить воображениемъ и умомъ, а все существо ея становится на дыбы, и другого успокоенія (кром' ложно-христіанскаго) нъту, — а мъсто занято. Она гадка и жалка. Мужикъ умираетъ спокойно, именно потому, что онъ не христіанинъ. Его религія другая, хотя онъ по обычаю и исполняль христіанскіе обряды; его религія—природа, съ которой онъ жилъ. Онъ самъ рубилъ деревья, съяль рожь и косиль ее, убиваль барановь, и рожались у него бараны, и дъти рожались, и старики умирали, и онъ знаеть твердо этоть законь, оть котораго онь никогда не отворачивался, какъ барыня, и прямо, просто смотръль ему въ глаза. «Un brute», вы говорите,—да чѣмъ же дурно un brute? Un brute есть счастье и красота, гармонія со всёмь міромь, а не такой разладъ, какъ у барыни. Дерево умираетъ спокойно, честно и красиво. Красиво-потому что не лжетъ, не ломается, не боится, не жалбеть. Воть моя мысль, съ которой вы, разумбется, не согласны, но которую оспаривать нельзя-это есть и въ моей душь, и въ вашей... Во миъ есть, и въ сильной степени, христіанское чувство; но и это есть, и это мив дорого очень. Это чувство правды и красоты, а то чувство личное—любви, спокойствія. Какъ это соединяется—не знаю и не могу растолковать; но сидять кошка сь собакой въ одномъ чуланъ-это положительно»... 19). Три года спустя, когда Толстой заканчиваль и отдёлываль для нечати своихъ «Казаковъ», набросанныхъ еще въ 1852 году, онъ вернулся ко всему этому ряду мыслей и чувствъ: въ Оленинъ мы и видъли соединение «христіанскаго чувства» съ чувствомъ природы, съ философіей «великаго язычника» дяди Ерошки. Но тамъ-же мы видъли и полную неудачу такого соединенія «кошки съ собакой въ одномъ чуланъ»: цивилизація и прогрессъ уводять человъка отъ природы и ставять его мораль въ противоръчие съ его чувствами. Такъ и въ разсказъ «Три смерти»: счастіе и красота, гармонія со всёмъ міромъ тёмъ недоступнёе, чёмъ дальше человъкъ (и вообще живое существо) уходить отъ этого міра первозданной природы.

Нѣкоторые отзвуки этихъ настроеній есть и въ «Холстомъръ» (1861 г.), хотя построеніе этого разсказа совершенно иное. Разсказъ стараго рысака о своей минувшей жизни, загубленной людьми, табунъ, ночь, пофыркивание лошадей, ихъ молчаливое вниманіе, - все это было ново и для Толстого, и для русской литературы той эпохи. Сопоставление жизни, старости и смерти бывшаго рысака Холстомъра и бывшаго богача, хозяина его. князя Серпуховскаго, проведено въ характерныхъ «толстовскихъ» тонахъ: рысакъ даже послъ смерти служитъ собою другимъ жизнямъ-волчица кормить имъ своихъ дътей; а «ходившее по свъту ъвшее и пившее мертвое тъло Серпуховскаго убрали въ землю гораздо послъ. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились»... Не въ этой обычной толстовской темъ, однако, прелесть разсказа; главное значеніе и прелесть его-въ тонкихъ, глубоко наблюдательныхъ описаніяхъ жизеи табуна, лошадиной сноровки, игры, любви, злобы. Громадное мастерство всёхъ этихъ описаній несомніно, но самый плань разсказа страдаеть значительнымъ недостаткомъ: авторъ заставилъ Холстомъра разсказывать табуну лошадей не только то, что условно можно вложить въ пониманіе лошади, но и то, чего вложить безусловно нельзя. Именно поэтому впечатлъние падаетъ, когда, волею автора, Холстомъръ разсказываетъ лошадямъ не только о своихъ ощущеніяхъ и воспоминаніяхъ, но также и о любовницъ князя Серпуховскаго, о восьмистахъ рубляхъ, о бобровомъ съдомъ воротникъ и т. п. Читатель принимаеть условность, но самый замысель все-таки признаеть неудачей. Впоследствіи, въ «Анне Карениной» Толстой показаль, какъ надо трактовать подобную тему въ главъ, посвященной скачкамъ и лошади Фру-фру.

Еще одно произведеніе той же эпохи—повъсть «Поликушка» (1861 г.). Толстой отзывался о ней пренебрежительно: «Поликушка кушка, —писаль онъ Фету,—болтовня на первую попавшуюся тему человъка, который владъеть перомъ; а Казаки—съ сукровицей, хотя и плохо». Онъ былъ несправедливъ къ самому себъ, хотя, повидимому, «Поликушка» написанъ дъйствительно

случайно. Весною 1861 года Толстой заканчиваль свое второе заграничное путешествіе (о которомъ будеть еще різчь ниже); прівхавъ изъ Лондона въ Брюссель, на пути въ Россію, онъ узналь о манифесть 19 февраля 1861 года, объ отмънъ кръпостного права. И здёсь же, вт Брюссель, онь написаль (въ марть — апръль 1861 года) повъсть изъ эпохи кръпостного права-«Поликушку», написаль какъ будто «случайно», «на первую понавшуюся тему». Точно также лътъ десять спустя Толстой «случайно» началь писать «Анну Каренину», подъ вліяніемъ прозы Пушкина... Конечно, и то, и другое совершенно невърно по существу: послъдній толчокъ быль, конечно, дань манифестомъ и Пушкинымъ, но для того, чтобы толчокъ этотъ могь привести въ движение Толстого, въ немъ должна была предварительно совершиться большая (а по отношенію къ «Аннъ Карениной»—даже громадная) внутренняя работа. И мы даже могли бы въ общихъ чертахъ уяснить себъ эту внутреннюю работу Толстого по отношенію къ вопросу крѣпостного права, обратившись къ его произведеніямъ и письмамъ пятидесятыхъ годовъ. Рядъ главъ въ «Дътствъ», «Отрочествъ» и особенно «Юности», отрывокъ «Утро помъщика», рядъ писемъ Толстого той эпохи показываеть, какъ чутко относился къ этому вопросу Толстой, хотя и не дълая себъ изъ него никакой «Аннибаловой клятвы». Особенно ужаснуло его кръпостное безправіе, когда онъ вернулся осенью 1857 года изъ за границы; онъ писаль тогда изъ Ясной Поляны своей теткъ гр. А. А. Толстой: «въ Россіи скверно, скверно, скверно. Въ Петербургв, въ Москвв всв что-то кричать, негодують, ожидають чего-то, а въ глуши все то же происходить, патріархальное варварство, воровство и беззаконіе. Повърите ли, что, прівхавъ въ Россію, я долго боролся съ чувствомъ отвращенія къ родинъ, и теперь только начинаю привыкать ко всемь ужасамь, которые составляють въчную обстановку нашей жизни»... И онъ разсказываеть свои впечативнія: какъ барыня на улицв палкой била свою дівку, «какъ мой бурмистръ, желая услужить мнь, наказаль загулявшаго садовника тъмъ, что, кромъ добой, послалъ его

босого по живнью стеречь стадо, и радовался, что у садовника всё ноги были въ ранахъ»... Десятки, сотни подобныхъ впечативній безсознательно накапливались въ душё Толстого, такъ что и «случайно» написанный «Поликушка» оказался не «болтовней на первую попавшуюся тему», а глубоко выношеннымъ и сильнымъ произведеніемъ. «Прочелъ я Поликушка тургеневъ, и удивлялся силё этого крупнаго таланта. Только ужъ матеріалу больно много потрачено, да и сынишку онъ напрасно утопиль. Ужъ очень страшно выходить. Но есть страницы поистинё удивительныя. Даже до холода въ спинной кости пробираеть, а вёдь она у насъ и толстая, и грубая».

Этоть отзывъ очень върень; но все-таки въ повъсти этой нъть въ сущности никакого нагроможденія ужасовъ, — и именно отъ того впечатлъние особенно сильно. Помъщица, барыня-вовсе не какая-нибудь жестокая Салтычиха, а просто добродушная, безтолковая, болтливая деревенская дама; приказчикъ Егоръ Михайлычь-тоже степенный, солидный, не жестокій толстовскій бурмистръ. И все-таки самый строй крвпостной жизни таковъ, что, не оправдавъ довърія сентиментальной помъщицы, Поликей повъсился, —а отъ этого и жена его, Акулина, сошла съ ума, и грудной ребенокъ ихъ утонулъ въ корыт В. Зд всь не нагромождение ужасовъ, какъ полагалъ Тургеневъ, а только развитіе той темы, о которой Толстой не переставаль думать со времени начала «въры въ прогрессъ» и особенно со времени смерти его брата Николая (20 сент. 1860 г.), о которой мы упоминали выше. Въ дневникъ отъ конца ноября 1860 года Толстой, между прочимъ, записываеть: «умерь въ мученіяхь мальчикь 13 лёть оть чахотки. За что?» Никакія теоріи прогресса не могли бы объяснить это Толстому; и именно эта тема мимолетно проходить въ концъ «Поликушки», тамъ, гдъ, по Тургеневу, «ужъ очень страшно выходить». И такимъ образомъ вопросъ о крѣпостномъ безправіи русскаго мужика расширяетсям переходить—какъ вездв у Толстого въ вопросъ о своего рода кръпостномъ правъ всего человъчества

предъ лицомъ неумолимыхъ законовъ природы, законовъ «прогресса».

Всѣ эти произведенія Толстого эпохи 1857—1861 гг. были написаны имъ, повторяю, въ состояніи полу-вёры и полу-невърія въ жизнь и въ современныя формы культуры; подъ разными углами зрънія эти мысли проводятся и въ «Люцернъ», и въ «Поликушкъ», и въ разсказъ «Три смерти». Разочаровавшись въ формахъ жизни, Толстой не разочаровался еще въ жизни вообще, не разувърился въ «прогрессъ»; наобороть, именно въ это самое время онъ весь отдался большой работъ строительства жизниобразованія новыхъ покольній. «Вернувшись изъ-за границы, вспоминаль впоследстви Толстой, -- я поселился въ деревне и напаль на занятіе крестьянскими школами. Занятіе это было мнъ особенно по сердцу, потому что въ немъ не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая уже ръзала мнъ глаза въ дъятельности литературнаго учительства. Здъсь я тоже дъйствоваль во имя прогресса, но я уже относился критически къ самому прогрессу. Я говориль себъ, что прогрессь въ нъкоторыхъ явленіяхь своихь совершался неправильно, и что воть надо отнестись къ первобытнымъ людямъ, крестьянскимъ дътямъ, совершенно свободно, предлагая имъ избрать тоть путь прогресса, который они захотять... Послё года, проведеннаго въ занятіяхъ школой, я въ другой разъ повхалъ за-границу, чтобы тамъ узнать, какъ бы это такъ сдълать, чтобы, самому ничего не зная, умъть учить другихъ»... ²⁰) Вернувшись изъ этой второй за-граничной новздки (1860—1861 гг.), Толстой съ новой энергіей взялся за школу и сталь въ 1862 году издавать свой журналь, посвященный школь--«Ясную Поляну». Въ журналь этомъ помъщенъ рядъ замѣчательныхъ статей Толстого, особенно «Воспитаніе и образованіе», и «Прогрессь и опредѣленіе образованія»; не говоримъ уже объ «отчетахъ» по веденію ясно-полянской школы, вмъсто отчетовъ подъ перомъ Толстого рождались назабываемояркія художественныя статьи.

Эта педагогическая дъятельность привела Толстого къ окон-

чательному кризису и безъ того пошатнувшейся въры его въ прогрессъ. «Литературное учительство»-мы только что слышали это оть Толстого-стало для него ложью, и стало именно потому, что нельзя было учить и проповъдывать, не имъя твердой въры. По поводу тургеневскаго «Наканунъ» Толстой писаль въ началъ 1860 года: «вотъ мое мненіе: писать повести вообще напрасно, а еще болье такимъ людямъ, которымъ грустно и которые не знають хорошенько, чего они хотять оть жизни»... Такъ писаль онъ о Тургеневъ, но думалъ это о себъ. Подходя въ такомъ настроеніи къ педагогической д'вятельности, Толстой, разум'вется, не могь и не хотъль передать это настроение дътямъ. Дъти крестьянскія, какъ и всякія діти, твердо знають, чего они хотять оть жизни; педагогу остается только насыщать ихъ любознательность, передавать имъ свои сведенія, —но никакъ не свое настроеніе, свое міропониманіе. Отсюда-главный выводь, выраженный въ статьъ «Воспитаніе и образованіе» (1862 г.): «образованіе и воспитаніе суть два различныя понятія; образованіе-свободно, и потому законно и справедливо; воспитаніе-насильственно, и потому незаконно и несправедливо, не можеть быть оправдываемо разумомъ и потому не можеть быть предметомъ педагогики».

Этоть рядь мыслей быль характерень не только для Толстого той эпохи,—не менъе характерень быль онь и для самой эпохи «эмансипаціи личности», всяческаго освобожденія. Достаточно вспомнить аналогичную проповъдь Писарева, который въто самое время категорически заявляль, что воспитаніе есть насиліе надь личностью, что воспитывать—«безчестно и нельпо», что «умный и широко развитый человъкь никогда не ръшится воспитывать ребенка», что «человъкь, дъйствительно уважающій человъческую личность, должень уважать ее въ своемъ ребенкъ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствоваль свое я и отдълиль себя оть окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой иден»... Писаревъ говориль все это какъ разь въ то самое время, когда и Толстой высказываль совершенно аналогичныя, почти тождественныя мысли о воспи-

таніи; все, что говориль Писаревь—все это буквально совпадаеть съ положеніями Толстого, заявляющаго, что «права воспитанія не существуеть. Я не признаю его, не признаеть, не признавало и не будеть признавать его все воспитываемое молодое поколѣніе, всегда и вездѣ возмущающееся противъ насилія воспитанія. Ч ѣ м ъ в ы д о к а ж е т е э т о право?» Это мимолетное сравненіе показываеть, насколько глубоко въ эпохѣ коренились педагогическія воззрѣнія Толстого, какое сильное вліяніе оказала (быть можеть, незамѣтно для него) переживавшаяся тогда эпоха всяческой «эмансипаціи».

Но туть же надо особенно подчеркнуть и ту линію, идя по которой, Толстой разошелся съ своей эпохой, хотя и предвосхитивъ этимъ основныя положенія эпохи последующей. И это было какъ разъ въ понятіи «прогресса». Когда въ отвъть на его статью «Воспитаніе и образованіе» послышались возраженія, что право высшихъ классовъ вмешиваться въ народное образование оправдывается прогрессомъ, то последние остатки былой веры въ прогрессъ рухнули у Толстого. Еще въ началъ 1860 года онъ записываль въ своемъ дневникъ: «странная религія моя и религія нашего времени—религія прогресса... Это только отсутствіе в'врованія и потребность созданной дінтельности, облеченная въ візрованіе. Человѣку нуженъ порывъ, Schwung, —да». Толстой все больше и больше приходиль къ мысли, что «прогрессь есть логарифмъ времени, т. е. ничего, констатизмъ факта, что мы живемъ во времени» (по его мъткому позднъйшему выраженію въ письмъ 1878 г. къ Страхову); и вдругь онъ сталкивается съ оправданіемъ образовательнаго насилія понятіемь этого самаго «прогресса» (въ возражающей Толстому статъв Евг. Маркова). Обдумывая свой отвъть на эту статью, Толстой пришель къ окончательному разрушенію своей «религіи прогресса». Со статьей Маркова («Русск. Въстн.» 1862 г., № 5) Толстой ознакомился передъ самымъ отъвздомъ своимъ на лето 1862 года въ Самарскую губернію, на кумысь; и воть что записываеть онь вь своемь дневникъ 20 мая: «На пораходъ. Какъ будто опять возрождаюсь къ жизни

и къ знанію ея. Мысль о нелѣпости прогресса преслѣдуетъ. Съ умнымъ и глупымъ, съ старикомъ и ребенкомъ бесѣдую объ одномъ». Результатомъ этихъ размышленій была замѣчательная статья «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» («Отвѣтъ г-ну Маркову»). Статья эта была оцѣнена только впослѣдствіи, поколѣніемъ семидесятыхъ годовъ, соціалистами-народниками (Михайловскій).

Оправданіе прогрессомъ права «высшихъ классовъ» общества вмѣшиваться въ образованіе народа рѣзко оспаривается Толстымъ, и прежде всего потому, что цъли, выгоды, интересы «народа» и «общества» далеко не охватываются однимъ и темь же словомь «прогрессь». Люди изъ высшихъ классовъ общества открыли общій законь, «по которому все человічество двигается впередъ и безъ участія мысли, противоположной царствующимь убъжденіямь. Мнимый этоть законь человъчества называется прогрессъ... Я не держусь религи прогресса, а кромъ въры ничто не доказываетъ необходимости прогресса»... Что такое въ сущности прогрессъ?—спрашиваетъ доказываеть, что фраза «человъчество движется впередъ», есть вовсе не законъ, а просто «констатизмъ факта, что мы живемъ во времени»... Но отсюда вовсе еще не слъдуеть, что «движеніе впередъ» равносильно «благу»: въ томъ-то и весь вопросъ, можно ли поставить здёсь знакъ равенства. Толстой доказываеть, что нельзя, что надо различать «прогрессь цивилизаціи» и «прогрессь общаго благосостоянія»: первый касается только высшихъ слоевъ общества, второй касается всего народа; первый есть прогрессь «движеніе», второй-прогрессъ «благо». И эти два «прогресса» вовсе не совпадають другь съ другомъ. Для большинства «образованнаго» общества «весь интересь исторіи заключается въ прогрессъ цивилизаціи; для насъ же интересь этоть заключается въ прогрессъ общаго благосостоянія. Прогрессъ же состоянія (это Толстой доказываеть подробно) не только не вытекаетъ изъ прогресса цивилизаціи, но большею частью противоположенъ ей»... А если такъ, то оправдывать что бы то ни было

«прогрессомъ»—нельзя, ибо оправдывать можно только «благомъ», а не «движеніемъ впередъ». «Прогресса яснымъ, и ясное кажется безсмыслицей. Благости прогресса я не признаю, пока мнъ не докажуть ея»...

Этоть замівчательный рядь мыслей интересень для нась вы трехъ отношеніяхъ. Прежде всего-онъ тесно связываеть великаго человъка съего эпохой. Самътого незная, Толстой геніальной интуиціей дошель до тъхъ выводовь, къ которымъ въ это же время приходила изъ совершенно иныхъ исходныхъ пунктовъ русская соціалистическая мысль; но Толстой предвосхитиль эти выводы на цёлое десятилётіе. Противоположность между интересами «общества» и «народа», противоположность между двумя родами прогресса-прогрессомъ-эволюціей и прогрессомъблагомъ: весь этотъ рядъ мыслей охарактеризовалъ собою впоследстви исторію русской общественной мысли семидесятыхъ годовъ, при чемъ главные представители ея и не подозръвали, что задолго до нихъ Толстой съ громадной силой мысли высказаль ихъ основныя положенія. Въ свое время Михайловскій, приступивъ къ изученію произведеній Толстого, былъ очень изумлень, найдя въ его педагогическихъ статьяхъ 1862 года тъ самыя основныя положенія критическаго народничества, которыя Михайловскій, идя вслёдь за Герценомъ, Лавровымъ и Чернышевскимъ, развивалъ въ семидесятыхъ годахъ.

Другой выводь болѣе важенъ; онъ касается самого Толстого. Мы уже не одинъ разъ отмѣчали выше по разнымъ поводамъ единство всего творчества Толстого, отсутствіе въ немъ какого бы то ни было «перелома»; «Люцернъ» и педагогическія статьи являются самымъ разительнымъ примѣромъ. Тридцатью годами позднѣе Толстой продолжалъ развитіе того же ряда мыслей, которыя были имъ съ такой замѣчательной силой высказаны еще въ пятидесятыхъ-шестидесятыхъ годахъ. «Прогрессъ цивилизаціи»—вреденъ «народу»: это положеніе, обоснованное на религіозной почвѣ, легло во главу угла грандіозной соціально-этической системы.

воздвигнутой Толстымъ въ восьмидесятыхъ годахъ. Такъ въ главномъ, такъ и въ частностяхъ: въ своемъ мѣстѣ мы покажемъ непосредственную преемственность положеній между замѣчательными «отчетами» 1862 года о ясно-полянской школѣ и статъей 1897 года «Что такое искусство?»

Третій выводь—самый важный: онъ касается глубокаго душевнаго кризиса, происшедшаго въ цѣльной натурѣ Толстого
въ 1862 году и явившагося ближайшимъ результатомъ педагогическихъ занятій, а также и всего развитія Толстого послѣ Севастоноля. Мы видѣли, какъ этотъ второй кризисъ въ жизни
Толстого назрѣвалъ, начиная съ произведеній 1856 года, какъ
все больше и больще Толстой терялъ вѣру въ «религію прогресса». Послѣднимъ ударомъ этой вѣрѣ была именно педагогическая
дѣятельность Толстого: задавшись вопросомъ, чему и какъ учитъ
крестьянскихъ дѣтей, Толстой послѣдовательно поднималъ слои
все болѣе и болѣе глубокихъ вопросовъ, пока не дошелъ до основного, послѣдняго—что такое! п р о г р е с с ъ, во имя котораго
надо учить? Углубившись въ рѣшеніе, онъ потерялъ послѣднюю
вѣру въ ту «религію прогресса», которой онъ, по его же словамъ,
жилъ въ 1856—1862 гг.

Такъ заключился второй кризисъ въ жизни и міропониманіи Толстого. Въ «Исповѣди» онъ самъ разсказываеть, какъ онъ впалъ отъ этого въ отчаяніе, какъ онъ «заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ—дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью»... Начинался третій періодъ жизни и творчества Толстого, періодъ полнаго расцвѣта его духовныхъ и творческихъ силъ, ознаменованный въ области художественнаго творчества созданіемъ двухъ грандіозныхъ эпопей, а въ области философскаго и религіознаго творчества—созданіемъ безсознательнаго, но глубокаго и яркаго міропониманія.

«Войну и миръ» Л. Толстой началь писать въ концъ 1863 года. Онъ уже годъ былъ женатъ и совершенно счастливъ; ему казалось, что всё его былыя мученія, исканія вёръ, религіозные кризисы отошли въ прошлое, что ни религія, ни въра: ни исканія ему больше не нужны. «Новыя условія счастливой семейной жизни—писаль онъ впоследствии въ «Исповеди»—совершенно уже отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни... Стремленіе къ усовершенствованію, подміненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмънились уже прямо стремленіемъ къ тому, чтобымнъ съ семьей было какъ можно лучше. Такъ продолжалось пятнадцать лъть. Несмотря на то, что я считаль писательство пустяками въ продолжение этихъ пятнаддати лътъ, я все-таки продолжаль писать... и предавался писательству, какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенію въ душт всякихъ вопросовъ о смыслъ жизни моей и общей. Я писалъ, поучая тому, что для меня было единой истиной-что надо жить такь, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше»... За эти пятнадцать лътъ, о которыхъ говоритъ Толстой (1862-1877 гг.), имъ написаны двъ эполеи, историческая и психологическая, «Война и миръ» и «Анна Каренина»,—и воть въ чемъ весь ихъ смыслъ видёлъ вноследстви Толстой!.. Если это такъ, то тогда писательство дъйствительно «пустяки»; если же это не такъ, то, стало быть, Толстой самъ не замъчаль того глубокаго «исканія общаго смысла жизни», какое проходить черезь объ его эпопеи. Послъднее несомнънно върно, и мы это увидимъ; великія художественныя интунцін часто бывають подсознательны и открываются только позднійшимъ поколініямъ. Такъ было съ Шекспиромъ; такъ было и съ «Войной и миромъ» Толстого.

Впрочемъ, въ только что приведенныхъ словахъ Толстого кое-что соотвътствовало дъйствительности. Начиная писать великую эпопею, онъ быль всецёло поглощень счастіемь своей семейной жизни, ушель въ себя и охладъль на время ко всему тому, что не затрагивало непосредственно его «я». Для того, чтобы религія прогресса замінилась религіей жизни, Толстому надо было пройти черезъ узкій мость крайняго индивидуализма, и только пройдя его, понять, что внв общества, внв народа, внв жизни другихъ — жизнь моя становится узкой, сжатой, ограниченной. Начиная «Войну и миръ», Толстой еще не видёль, не сознаваль всего этого. «Я никогда не чувствоваль свои умственныя и даже всё нравственныя силы столько свободными и столько способными къ работъ, -- писалъ Толстой своей родственницъ, гр. А. Толстой, въ концъ 1863 года: п работа эта есть у меня. Работа эта-романъ изъ времени 1810 и 20-хъ годовъ, который занимаеть меня вполнъ съ осени. Доказываеть ли это слабость характера или силу, - я иногда думаю и то, и другое, но я долженъ признаться, что взглядъ мой на ж и з н ь, на н а родъ и на общество теперь совсемъ другой, чёмъ тотъ, который у меня быль въ последній разъ, какъ мы съ вами виделись (это было весною 1859 года, когда върою Л. Толстого еще была религія прогресса). Ихъ можно жальть, но любить-мив трудно понять, какъ я могь такъ сильно. Все-таки я радь, что прошель черезь эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала»... Толстой быль правъ: недаромъ прошелъ онъ черезъ школу религіи прогресса, ибо только отсюда могь онъ взять то преодольние своего крайняго индивидуализма, которое лежить үже въ самой концепціи «человъчества»—въ главномъ понятіи религіи прогресса. Все это сказалось вскоръ; но къ писанію «Войны и мира» Толстой приступиль безъ всякихъ подобныхъ теоретическихъ построеній: «я не копаюсь въ своемъ положеніи и въ своихъ чувствахъ, а только чувствую»—писалъ Толстой въ томъ же письмъ. Философія «Войны и мира» была создана не разумомъ, а геніальной подсознательной художественной интуиціей.

Извѣстно, какъ подошелъ Толстой къ темѣ этого эпическаго романа. Въ 1863 году онъ задумалъ писать романъ «Декабристы» и сталъ уже собирать матеріалы. «Стремясь возсоздать время декабристовъ, — говоритъ гр. С. А. Толстая, — онъ невольно переходилъ мыслью къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать: семья, воспитаніе, общественныя условія и проч. избранныхъ имъ лицъ»... Такъ подошелъ Толстой къ эпохѣ наполеоновскихъ войнъ и сталъ писать романъ «Война и миръ», въ эпилотѣ котораго онъ дошелъ и до начала движенія декабристовъ.

Семья, воспитаніе, общественная среда и вообще вся жизнь главныхъ героевъ «Войны и мира» были хорошо извъстны Толстому и внъ процесса художественнаго творчества: богатымъ матеріаломъ ему послужили семейныя воспоминанія, внечатлівнія дътства, разсказы тетушекъ, одна изъ которыхъ стала даже героиней романа. Стоитъ только обратиться къ «Воспоминаніямъ Толстого, написаннымъ въ 1905 году, чтобы найти пѣтства» въ нихъ почти всёхъ главныхъ действующихъ лицъ «Войны и мира». Дъдъ Л. Толстого, графъ Илья Андреевичъ Толстой, воспроизведень въ романъ подъ именемъ графа Ильи Андреевича Ростова; графиня Ростова-бабушка Л. Толстого, Пелагея Николаевна, вполнъ върно нарисованная въ романъ; сынъ ихъ Николай, отепъ Толстого-одинъ изъ главныхъ героевъ «Войны и мира», Николай Ростовъ; Соня—Т. А. Ергольская, о которой мы уже нъсколько разъ упоминали; Княжна Марья-мать Л. Толстого, Марія Волконская; отецъ ея князь Н. С. Волконскій старикъ князь Болконскій романа; даже m-lle Bourienne романа была въ жизни-m-lle Enitienne, компаньонка княжны Маріи.

Даже «чернопътая Милка» была дъйствительно любимой собакой отца Л. Толстого...

Списокъ этотъ можно было бы значительно удлинить; можно было бы найти въ воспоминаніяхъ Л. Толстого еще многихъ другихъ дъйствующихъ лицъ «Войны и мира»; мало того—весь скелеть романа между Николаемъ и Соней до мельчайщихъ подробностей взять изъ жизни отца Л. Толстого и изъ жизни Т. А. Ергольской. Княжна Марыя, ея дневники, хозяйство Николая Ростова, обожженная горячей линейкой рука, имфніе Лысыя Горы (Ясная Поляна)—все, важное и мелкое, черпалъ Толстой изъ дъйствительной жизни, для того чтобы въ своемъ романъ возвести это къ высшей действительности художественнаго творчества. Такимъ образомъ, въ «Войнъ и миръ» мы имъемъ лучшее введеніе къ біографіи самого Л. Толстого-имъемъ ту среду, ту почву, на которой онъ выросъ «изъ земли къ небесамъ». Этотъ полу-великосвътскій, «средне-высшій» кругь быль въ первой ноловинъ XIX въка той средой, изъ которой выходила почти вся «интеллигенція» той эпохи, изъ которой вышла вся литература того времени. Наивный эпикуреизмъ, всегда господствующій въ этой средъ, не переходиль въ интеллигенцію и литературу, но когда переходиль, то выражался въ безконечно углубленныхъ формахъ, преображался въ гармонію радости и страданія: такимъ было, напримъръ, глубочайшее содержание поэзи Пушкина, ярче всего выраженное въ его «Евгеніи Онъгинъ». Но недаромъ же «Евгеній Онътинъ» оказаль на Толстого, по его же собственному признанію, «очень большое вліяніе». Религія жизни, апостоломъ которой быль Пушкинъ, полвъка спустя нашла не менъе глубокое выражение въ «Войнъ и миръ» Толстого,--и самъ Толстой этого не сознавалъ. А между тъмъ глубокое утвержденіе жизни, принятіе мукъ и страданій и творческое претвореніе ихъ въ силу и радость жизни-въ этомъ весь главный смысль грандіознаго романа Толстого.

Громадная задача стояла передъ авторомъ. Мъсто дъйствія романа—вся Европа, отъ Волги до Аустерлица; дъйствующія

липа-въ равной мъръ и стотысячныя громады войска, и дъвочка Наташа, и «великій Наполеонъ», и пленный солдать Платонъ Каратаевъ. Бородинское сражение и псовая охота, огромныя передвигающіяся полчища войскъ и чуть замътныя движенія души человъка, массовыя убійства и незамътное личное горе, историческое свиданіе Александра съ Наполеономъ и встріча Пьера съ Наташей-въ одинъ клубокъ жизни соединяются всё эти историческія и «романическія» происшествія. Размотать этотъ клубокъ въ стройную нить романа авторъ могь только въ томъ случав, если бы ему удалось осмыслить, уяснить себв весь этоть причинный рядь явленій не только подь угломь зрінія «обстоятельства цёни», но и съ точки зрёнія «обстоятельства образа дъйствій»: надо было уяснить себъ не только, зачъмъ все это дълалось, но и какъ все это происходило, каковы были побудительныя причины, исихологическія основанія, почему то или иное должно было совершиться именно такъ, а не иначе. Задавшись всёми этими вопросами, Толстой неизбёжно пришель къ философскому обоснованію исторической и художественной стороны романа, при чемъ это философское обоснованіе онъ пожелаль выразить не въ художественных образахь, а въ формъ обширныхъ (особенно въ третьемъ и четвертомъ томъ вводныхъ разсужденій на темы о власти, о свобод'в и необходимости, о вол'в и т. п. Это могло бы испертить обычный романь; но чёмъ дальше Толстой работаль надь этимь своимь произведениемь, темь меньше намфревался онъ вложить его въ предписанныя теоріями словесности формы. «Что такое Война и миръ?-говориль Толстой въ послъсловіи: — это не романъ, еще менъе поэма, еще менъе историческая хроника. Война и миръ есть то, что хотъль и могь выразить авторъ въ той формъ, въ которой оно выразилось»... И онъ правъ. «Война и миръ» это художественно-историко-философская эпопея, всв стороны которой-и художественная, и историческая, и философская—неразрывно сплетены другь съ другомъ. Историческое выражается въ художественномъ творчествъ автора событіе

«Войны и мира», преломляясь сквозь призму его философскихъ воззрѣній: таково построеніе каждой исторической сцены романа, таковъ и весь онъ въ своемъ цѣломъ.

Этой всепреломияющей призмой была для Л. Толстого, какъ извъстно, философія фатализма. Не надо думать, что только въ «Войнъ и миръ» Л. Толстой смотрълъ на жизнь сквозь эту призму; нътъ, и раньше, и позднъе онъ всегда, хотя и подъ разными углами зрвнія, быль сторонникомь этой философской теоріи которая, пожалуй, была вообще его житейской философіей. Въра «предопредъленіе» всегда была върой Толстого; уже въ серединъ семидесятыхъ годовъ, когда Толстой искалъ гувернера для своихъ дътей, онъ писалъ: «я върю, что не только помощникъ въ воспитаніи дътей, но и кучеръ, который найметсяпредопредвленъ» ²¹). Въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ въра эта выразилась у Толстого въ новыхъ формахъ, не измънившись по существу; оть теоріи безсилія личности онъ перешелъ къ теоріи всесилія личности, но личности, руководимой Богомь, безъ воли котораго и волосъ упасть не можеть. Объ этихъ позднъйшихъ взглядахъ Л. Толстого у насъ еще будетъ ръчь; здъсь надо было только подчеркнуть, что историческая философія «Войны и мира» не была чъмъ-то случайнымъ или временнымъ въ стров общихъ взглядовъ Л. Толстого.

Эта философія опредълила собою все освъщеніе исторической стороны романа. Міровая исторія предопредълена свыше неизвъстной намъ силой и неизвъстнымъ намъ образомъ. Сила эта реальный фактъ жизни, а не наивная былая въра Толстого въ Провидъніе, озабоченное уплатою его карточнаго долга. «Возвратиться къ прежнему върованію въ непосредственное участіе Божества въ дълахъ человъчества—...невозможно: върованіе разрушено»,—заявляеть самъ Толстой уже въ концъ своей эпонеи ²²). Но въ то-же время въровать въ могущество личности въ этомъ историческомъ процессъ Толстой не могъ: въдь и въ религіи прогресса онъ незадолго передъ этимъ разочаровался именно потому, что не отъ воли человъка (будь онъ хоть въ десятки разь

могущественные Наполеона) зависить изъ прогресса-«движенія» сдёлать прогрессъ-«благо», замёнить эволюцію прогрессомъ. Личность безсильна въ историческомъ процессъ. Особенно наглядно это безсиліе проявляется именно тамъ, гдф люди думають, что это они двигають событіями. Примерь-Наполеонь. Онъ быль увъренъ, что это по его «волъ» милліоны народа убивають другь друга, что действительно «маніемь руки» онь можеть «двинуть полки»; но это была простая иллюзія, аберрація познанія. Въ дъйствительности же Наполеонъ аналогиченъ тому маленькому мальчику, который, сидя внутри кареты и держась за какія-то тесемки, воображаеть, что это онь править лошадыми. Наполеону противоположенъ Кутузовъ, который смутно соззнаетъ, что носитель власти есть лишь лицо, «тъмъ менъе принимающее участіе въ дъйствін, чъмъ болье лицо это выражаеть мевнія, предположенія и оправданія совершающагося совокупнаго действія». Воть та историческая философія, которая легла въ основу «Войны и мира», и на которой только Толстой могь выткать такія геніальныя по своей художественности и ясности картины, какъ Аустерлицъ, Бородино и особенно Шенграбенское сраженіе.

Что въ великомъ, то и въ маломъ; что въ диспозиціи какогонибудь бородинскаго сраженія, то и въ «міровой диспозиціи»,
въ которую безсиленъ вмѣшаться хотя бы и Наполеонъ. Сраженіе рѣшается не диспозиціями, планами обходнаго движенія,
а случайной психикой солдатской массы (при чемъ сама «случайность» фатально предопредѣлена) и цѣлою массою другихъ случайностей. Распоряжаться сраженіемъ такъ же невозможно, какъ
и ходомъ всемірной исторіи; идеальный руководитель сраженія—
человѣкъ, спокойно выражающій и соединяющій въ себѣ мнѣнія,
предположенія и оправданія совершающагося совокупнаго дѣйствія. Таковъ Кутузовъ въ Бородинѣ, Багратіонъ въ Шенграбенѣ. Стремясь послѣдовательно провести этотъ взглядъ,
Толстой иногда впадалъ въ непослѣдовательность; онъ не замѣчалъ, напримѣръ, что въ его описаніи аустерлицкой битвы этому

закону невозможности руководительства подчинены только союзники, колонны которыхъ путаются, приходять не туда, куда надо, и не тогда, когда надо, а Наполеонъ върно и мътко осуществляетъ заранъе задуманный планъ прорыва непріятельскаго центра. Психологически это нонятно: военная теорія Толстого была основана на личномъ опытъ севастопольской войны, на опытъ Черной ръчки, Федюхиныхъ высотъ, сраженія при Альмъ и прочихъ печальныхъ опытахъ; въ своемъ «предисловіи», которое было по существу послъсловіемъ къ «Войнъ и миру» ²³), Толстой невольно обнаруживаетъ это, ссылаясь на свои севастопольскія впечатлънія и на мнъніе одного боевого генерала, Муравьева-Карскаго... Толстой забылъ, что своимъ описаніемъ тактики Наполеона при Аустерлицъ, онъ свелъ на нътъ и всъ свои личныя впечатлънія, и всъ мнънія какихъ бы то ни было боевыхъ генераловъ.

Но не въ этихъ противоръчіяхъ дъло, а въ томъ, насколько Толстому удалось претворить въ художественную плоть и кровь свои хотя бы и очень спорныя воззрънія; а это воплощеніе было совершено съ такой геніальной силой, что спорность теоріи отходила на задній планъ.

Борьба Толстого съ Наполеономъ—вотъ въ чемъ проявляется вся сущность исторической философіи «Войны и мира»; и если кто-нибудь остался побѣжденнымъ въ этой борьбѣ, то ужъ конечно не Толстой. Часто бываетъ, что художникъ, борясь съ ненавистной ему идеей, воплощаетъ ее въ соломенное чучело, въ неживого, картоннаго героя, котораго ему не трудно побѣдоносно уничтожитъ; такіе случаи—паденіе художника, его пораженіе. Такъ было, напримѣръ, съ Гончаровымъ, когда онъ сочинилъ и побѣдилъ Марка Волохова. Не то въ «Войнѣ и мирѣ»: Наполеонъ, съ которымъ борется Толстой—до жуткости живое лицо въ романѣ; онъ не историческая абстракція, а художественный типъ, хотя и является воплощеніемъ опредѣленной философской идеи. Историческое безсиліе личности—вотъ что онъ воплощаетъ въ романѣ, но эту отвлеченную идею онъ выражаетъ, какъ живое

лицо. Du glaubst zu schieben und du bist geschoben-этотъ стихъ Гёте Л. Толстой взяль въ 1862 году эпиграфомъ къ своему педагогическому журналу «Ясная Поляна»; съ одинаковымъ правомъ онъ могь бы поставить его и на «Войнъ и миръ» и особенно на главахъ, посвященныхъ Наполеону. Съ геніальнымъ мастерствомъ обрисованы всв импульсы стихійной силы, которая толкаеть Наполеона, въ то время какъ тому кажется, что это онъ движетъ народами и исторіей; и если гдів-либо и когда-либо происходило самое безпощадное «развънчивание героя», героя, вообще кумира массы, то это было сдълано именно Толстымъ въ «Войнъ и миръ». Немногочисленныя сцены, въ которыхъ дъйствуеть или проходить Наполеонь, написаны такъ мастерски, что и безъ всякихъ комментаріевъ отъ автора «разв'єнчиваніе» совершается въ душъ читателя силою одного художественнаго впечатлънія. Читатель уже не спрашиваеть себя, правъ Толстой или нъть въ своемъ «развънчиваніи» Наполеона, но видить и сознаеть, что мало-по-малу бледнеть вь его глазахь образь этого «героя».

Сильный ударъ нанесь Л. Толстой культу героевъ, но это не значило, чтобы онъ вообще отрицалъ «героическое въ исторіи»; онъ видълъ героевъ и любилъ ихъ, но только это были не Наполеоны, не «герои меча», а «герои духа»: такимъ былъ, напримъръ, Платонъ Каратаевъ, это живое «олицетвореніе всего русскаго. добраго и круглаго», крестьянскаго и «хрестьянскаго», «непостижимое, круглое и въчное олицетворение духа простоты и правды». Не то что дъйствіями массъ, но и внъшней стороной одной своей жизни не могь бы руководить Платонъ Каратаевъ; онъ чувствуеть и знаеть, что жизнь сильнее его, что каждый человекь-только соломинка въ бурномъ потокъ. И оттого онъ принимаетъ, не противясь, этоть бурный потокъ жизни; но зато въ немъ самомь, въ душт его, такая сила, которую никто и никогда сломить не можеть. Онъ твердо знаеть, что добро, и что зло, но знаеть это не за себя одного, не какъ Платонъ Каратаевъ, а какъ органическая часть того цълаго, въ которомъ онъ живетъ. «Жизнь его, какъ онъ самь смотръль на нее, не имъла смысла, какъ отдъльная жизнь; она имъла смыслъ только какъ частица цълаго, которое онъ постоянно чувствовалъ»...

Наполеонъ и Платонъ Каратаевъ-это два полюса, между которыми размъщаются всъ другіе «герои» романа. И чъмъ больше въ человъкъ «каратаевскаго» начала, тъмъ больше онъ подлинный «герой» въ глазахъ автора, герой, быть можеть, незамътный въ потокъ жизни, но подлинно великій въ своей сущности; наобороть, чъмъ сильнъе «наполеоновскій» элементь, тъмъ ниже стоить человъкь, думающій стоять очень высоко. Эти два элемента Толстой разграничиль отчасти по національнымь категоріямь. выводя «каратаевщину» изъ духа русскаго народа, а «наполеоновское» начало приписывая французской почей; но въ то же время онъ видълъ, что оба эти начала по существу общечеловъчны и разбивають рамки національностей. И, напримірь, въ одномь и томъ же князъ Андрев онъ показалъ духовный рость по направленію оть «наполеоновскаго» къ «каратаевскому» элементу духа. Но любимые его герои, незамътные въ міровой исторіи Наташа, Соня, княжна Марья, Николай Ростовъ-всв они безсознательно полны «каратаевскаго» начала, какъ полны ткани растенія теми соками, которые незамътно поднялись по скрытымъ волокнамъ изъ глубины земли. Самопожертвование Сони, духовная «лучистость» княжны Марын, групповое сознаніе Николая Ростова, его жизнь въ цъломъ-все это въ большей или меньшей степени пронизано «каратаевскимъ» духомъ, и оттого всѣ эти незамѣтные люди-главные герои Л. Толстого. Таковы его неизвъстные міру герои, но таковъ и Кутузовъ, который является тоже носителемъ «каратаевскато» начала въ своемъ своеобразномъ пониманіи роли и значенія главнокомандующаго, въ своемъ отрицанін значенія личности въ ходъ историческихъ событій.

Таковъ общій смыслъ историко-философской части «Войны и мира»; другую сторону ея увидимъ мы, обращая вниманіе на художественно-философскую часть эпопен. Объ эти части, объ эти стороны не только не взаимно противоръчать, но тъснъйшимъ образомъ дополняютъ другъ друга. Полное отрицаніе роли

личности въ исторіи дополняется пропов'єдью и признаніемъ великаго значенія всякой личности въ кип'вніи «настоящаго момента». Въ историческомъ процессъ ничтоженъ самъ Наполеонъ, въ личной жизни-«всякій изъ насъ ежели не больше, то никакъ не меньше человъкъ, чъмъ всякій Наполеонъ». Въ исторіи личность поглащается фатально-предопредвленнымъ процессомъ; но самая жизнь этой личности, жизнь въ семьв, въ обществв, на груди природы, есть жизнь полная, яркая, значительная. Недаромъ только года за два передъ «Войной и миромъ» Толстымъ былъ окончательно дорисованъ дядя Ерошка (изъ «Казаковъ»), великій апологеть жизни самой по себь. Черезь всю эпопею проходить эта художественная, безсознательная проповъдь религіи жизни, выражающейся и въ семейномъ счастьъ, и въ общественномъ строительствъ, и въ поискахъ истины, въ духовныхъ исканіяхъ, въ радости, въ любви, отчаяніи, сміхь, слезахъ-во всемъ, составляющемъ и внъшность, и сущность жизни каждаго человъка. Въ этомъ весь внутренній смыслъ художественной стороны романа, вся его глубокая подсознательная художественная философія, безм'врно болье уб'вдительная, чымь могь бы быть разсуждающій трактать на эту тему. И эта художественная философія проходить черезь весь романь, съ начала и до конца; въ эпилогъ отдъльныя нити связываются въ окончательный узель, подводится итогь тому, что было ясно и на протяженіи всего романа. Великія исканія приводять кь этой религіи жизни, точно такъ же, какъ могутъ привести они и къ религіи смерти; и кресть этихъ исканій возложенъ авторомъ на плечи двухъ героевъ романа-князя Андрея и Пьера, такихъ разныхъ и такъ другь друга дополняющихъ. Другіе герои романа просто живуть, эти два - мучительно ищуть дорогу жизни; и не удивительно поэтому, что оба они-и Болконскій, и Безуховъсамого Толявляются отраженіемъ и воплощеніемъ души стого, мучительныхъ и великихъ его исканій вічныхъ цінностей. По этой же самой причинъ это почти единственны е главные герои романа, которые не имъють своихъ прототицовъ въ восцоминаніяхъ Толстого: мы видѣли, что почти всѣ дѣйствующія лица, отъ Николая Ростова до чернопѣгой Милки, взяты Толстымъ изъ жизни двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ; только князь Андрей и Пьеръ составляють исключеніе, и это именно нотому, что оба они—самъ Л. Толстой ²⁴).

Князь Андрей Болконскій—это все тоть же Нехлюдовь, все тоть же Оленинь, воплощенный въ человъка начала XIX стольтія; и такое воплощеніе законно и художественно, ибо мучительныя исканія князя Андрея не составляють монополіи какойлибо одной эпохи, они въчны. Несомнънно, однако, что самъ Толстой стоить за княземъ Андреемъ, когда тотъ признается самому себъ въ своей любви къ славъ людской, для которой онъ всёмъ готовъ пожертвовать. Помните героя «Юности», который признается, что однимъ изъ главныхъ его чувствъ является «любовь дюбви» человъческой? Князь Андрей только продолжаеть эту линію постоянной толстовской мысли, мечтая о славъ и сопровождая свои мечты постоянными толстовскими недоумънными вопросами: зачемъ? ну, а потомъ? Но пока онъ еще слишкомъ ослеплень этой «любовью любы», чтобы суметь взглянуть дальше, отвътить смъло на свои-же вопросы. «Ну, а потомъ что-жъ? Ну, а потомъ, — отвъчаетъ самъ себъ князь Андрей, —я не знаю, что будеть нотомъ, не хочу и не могу знать; но ежели хочу этого, хочу славы, хочу быть извъстнымь людямь, хочу быть любимымь ими, то въдь я не виновать, что я хочу этого, что одного этого я хочу, для одного этого я живу. Да, для одного этого! Я никогда никому не скажу этого, но, Боже мой! что-же мнв двлать, ежели я ничего не люблю, какъ только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мив не страшно. И какъ ни дороги, ни милы мнъ многіе люди, -- отець, сестра, жена, самые дорогіе мнъ люди, но, какъ ни страшно и неестественно это кажется, я всёхъ ихъ отдамъ сейчась за минуту славы, торжества надъ людьми, за любовь къ себъ людей, которыхъ я не знаю и не буду знать»... 25). Эти земные помыслы, хорошо знакомые намъ еще изъ «Юности» Толстого, обрываются тяжелой раной на аустерлицкомъ

поль; и только тогда, лежа раненый на этомъ поль, впервые увидълъ князь Андрей неизмъримо высокое безконечное небо; только тогда поняль онь цену всехь своихь мечтаній о славе, цёну своего чувства «любви любви» человёческой. «Какъ же я не видълъ прежде этого высокаго неба? И какъ я счастливъ, что узналъ его наконецъ. Да! все пустое, все обманъ, кромъ этого безконечнаго неба. Ничего, ничего нътъ, кромъ него. Но и того даже нъть, ничего нъть, кромъ тишины, успокоенія»... Теперь, передъ лицомъ этого небытія, передъ лицомъ смерти, бывшій его герой и кумиръ, Наполеонъ, «казался ему столь маленькимъ, ничтожнымъ человъкомъ, въ сравнении съ тъмъ, что происходило теперь между его душой и этимъ высокимъ безконечнымъ. небомъ»; теперь все казалось ему ничтожнымъ, и передъ лицомъ. смерти князь Андрей «думаль о ничтожности величія, о ничтожности жизни, которой никто не могь понять значенія, и о еще большемъ ничтожествъ смерти, смысла которой никто не могъ понять и объяснить изъ живущихъ»... И все-таки, умирая съ такими мыслями, князь Андрей страстно стремился еще къ жизни, въ которой онъ чувствоваль какое-то новое, неизвъстное ему доселъ значеніе; онъ молчаливо желаль, «чтобы люди помогли ему н возвратили бы его къ жизни, которая казалась ему столь прекрасной, потому что онъ такъ иначе понималъ ее теперь»... ²⁶).. Желаніе его исполнилось, онъ выздоровъль; онъ ушель отъ смерти, но не вернулся къ жизни. Подобно андреевскому Елеазару, князь. Андрей, взглянувъ въ глаза смерти, не хотълъ или не могъ вернуться къ земной жизни, земнымъ страстямъ, земнымъ интересамъ, радости, горю, исканію, строительству, общей жизни съ друтими людьми; передъ его «потухшимъ, мертвымъ взглядомъ» люди понимають, что какая бы то ни было «восторженность, мечты, надежды на счастье и на добро неприличны», что ему надо только «какъ-нибудь получше, никому не мъщая, дожить до смерти» ²⁷). Князь Андрей ушель оть смерти, но все еще не поняль жизни, а потому онъ влачить свои дни съ безнадежностью въ душь: «я живу и въ этомъ невиновать; стало быть, надо какънибудь получше, никому не мъщая, дожить до смерти»... Ему еще не приходить въ голову, что формулу—«никому не мѣшая» можно заменить принципомъ «всемъ помогая», и что только избавившись отъ холоднаго крайняго индивидуализма можно полюбить чужую и свою, безмёрно расширенную жизнь. А полюбить — значить понять, принять и оправдать. Нъть любвинъть спасенія; такому человъку не поможеть никакая въра въ безсмертіе, какъ не можеть помочь ему и никакая въра въ прогрессь человъчества, въра въ ближняго, который въдь все равно тоже умреть. Во всемъ этомъ нетрудно узнать мысли и чувства самого Л. Толстого, эпохи двухъ его извъстныхъ уже намъ кризисовъ; и если что-нибудь можеть спасти человъка въ этомъ положеніи, то это только новая віра, віра въ жизнь, віра въ человъка. Такъ было въ 1862-63 году съ Л. Толстымъ; такъ случилось и съ княземъ Андреемъ: его временно воскресила любовь къ Наташъ, въра въ человъка, въра въ жизнь. Есть эта въра-жизнь понятна, радостна, ярка; нътъ ея-а князь Андрей скоро снова ушель оть Наташи, оть человъка, оть жизни-и все разсыпается. словно карточный домикъ. Когда на князя Андрея нахлынуло чувство любви, чувство жизни, «безпричинное весеннее чувство радости и обновленія», онъ поняль жизнь, поняль свою былую ошибку: «мало того, что я знаю все то, что есть во мнъ; надо, чтобы и всѣ знали это... Надо, чтобы всѣ знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтобъ не жили они такъ независимо отъ моей жизни, чтобъ на всъхъ она отражалась и чтобы всь они жили со мною вместь»... Воть во что обратилось былое чувство-«любовь любви»! Но лишь только князь Андрей теряеть въру въ жизнь, въру въ человъка и любовь къ человъку, какъ тотчасъ все разсыпается прахомъ, все теряетъ смыслъ. « И прежде были все тъ-же условія, жизни, но прежде они всь вязались между собой, а теперь все разсыпалось. Одни безсмысленныя явленія, безъ всякой связи, одно за другимъ представлялись князю Андрею»... Снова пришель онъ къ религіи смерти—а при холодномъ свътъ этой религи безсмысленны, ничтожны и нелъпы всъ

явленія и проявленія жизни. «Да, да, воть они, тѣ волновавшіе, и восхищавшіе, и мучившіе меня ложные образы, -- говориль онъ себъ, перебирая въ своемъ воображении главныя картины своего волшебнаго фонаря жизни, глядя теперь на нихъ при этомъ холодномъ бъломъ свътъ дня, ясной мысли о смерти:-вотъ онъ, эти грубо намалеванныя фигуры, которыя представлялись чемъ то прекраснымъ и таинственнымъ. Слава, общественное благо, любовь къ женщинъ, самое отечество-какъ велики казались мнъ эти картины, какого глубокаго смысла казались онъ исполненными! И все это такъ просто, блъдно и грубо при холодномъ, бъломъ свъть того утра, которое, я чувствую, поднимается для меня»... Одну только истину знаеть теперь князь Андрей: умреть онъ, придуть люди, возьмуть его за ноги и за голову и швырнуть въ яму, и сложатся новыя условія жизни, а его уже не будеть... 28). Какой же смысль при этомъ «жить для другихъ»? Но въ то-же время какой смыслъ и «жить для себя»? Все одинаково нелъпо, одинаково безсмысленно.

Такъ, развивая психологію князя Андрея, продолжаль Толстой ту линію мыслей, которую нам'ятиль еще въ «Казакахъ, вь типъ Оленина. Конецъ князя Андрея показываетъ намъ, какъ, по мысли и чувству Толстого, не можеть и не должень отвъчать человъкъ на ту дилемму, которая стоитъ предъ каждымъ, стояла и передъ Оленинымъ, и передъ княземъ Андреемъ. Когда пришла смерть, когда въ бородинскомъ сраженіи онъ получиль смертельную рану-тогда только снова спросиль себя князь Андрей: «отчего мий такъ жалко разставаться съ жизнью?», тогда только снова созналь онъ, что «что-то было въ этой жизни, чего я не понималь и не понимаю».... Это «что-то» (онъ скоро начинаеть понимать), это «что-то» есть любовь не къ одному себъ, но и къ людямъ, не только принятіе жертвы, но и пожертвованіе собою: «воть отчего мнъ жалко было жизни, воть оно то, что еще оставалось мнъ, ежели бы я быль живъ»... Жить для другихъ-воть правда жизни, и здёсь развивается только та тема, та проблема, которая была поставлена еще Толстымъ-Оленинымъ; но въдь и Оленинъ

не могь жить по этой правдь, и князь Андрей приходить къ мысли; что эта правда жизни есть правда только передъ лицомъ смерти: великаго слова любви, думаеть онь, не могуть вмёстить живые люди, не могуть снести эту непосильную тяжесть, а мертвые, умирающіе, какъ онъ, могуть снести, могуть вмъстить, но не могуть осуществить. «Чёмъ больше онъ, послё своей раны, вдумывался въ новое, открытое ему начало въчной любви, тъмъ болье онъ, самъ не чувствуя того, отрекался отъ земной жизни. Все, всъхъ любить, всегда жертвовать собой для любви значило—никого не любить. значило—не жить этою земною жизнью. И чёмъ больше онъ проникался этимъ началомъ любви, тъмъ больше онъ отрекался отъ жизни и тъмъ совершеннъе уничтожаль ту страшную преграду. которая (безъ любви) стоить между жизнью и смертью»... Евангеліе—благая въсть не для живыхъ, а для мертвыхъ! Религію любви, религію жизни могуть принять только мертвые! Воть неожиданный ответь на те вопросы, которыхъ когда-то не могь разрѣшить Оленинъ, которыхъ не понималъ все время князь Андрей. Прежде у него быль потухшій, мертвый взглядь потому, что онъ, уйдя отъ смерти, не понималъ жизни; и теперь у него потухшій мертвый взглядь, потому что только уходя оть жизни, онъ поняль смерть. «Въ словахъ, въ тонъ его, въ особенности во взглядь этомь, холодномь, почти враждебномь взглядь, чувствовалась страшная для живого человъка отчужденность отъ всего мірского. Онъ, видимо, съ трудомъ понималь все живое; но вмъстъ съ тъмъ чувствовалось, что онъ не понималъ живого не потому, что онъ быль лишенъ силы пониманія, но потому, что онъ понималъ что-то другое, такое, чего не понимали и не могли понимать живые и что поглощало его всего»... Мы знаемъ эту новую его правду жизни передъ лицомъ смерти: живые могли бы осуществить, но не могуть вмъстить, а мертвые могуть вмъстить, но не могуть осуществить великаго слова любви. Для живыхъ это слово мертво, для умирающихъ оно только тормазъ на пути къ смерти, ибо «любовь мѣшаетъ смерти; любовь есть жизнь».... Преодольть смерть, проснуться оть смерти къ жизни-значить

не сумъть вмъстить единой правды жизни, любви; князю Андрею суждено было умереть, пробудиться отъ жизни къ смерти. Ибо, познавъ ту послъднюю истину, что «все, всъхъ любить, всегда жертвовать собою для любви значило—никого не любить, значило—не жить этою земною жизнью», познавъ эту послъднюю истину, князь Андрей могъ только умереть ²⁹).

Принимаеть ли Толстой во всей полнот в последнюю правду князя Андрея? Конечно, нътъ, иначе и самому Толстому оставалось бы только умереть. Но мысль, что все любить, всегда жертвовать собою значить никого не любить и не жить этою земною жизнью-это быль выводь не только князя Андрея, но и самого Толстого, это была последняя точка пути, къ которой могь притти Оленинъ. Что это былъ выводъ и самого автора, --ярче всего доказываетъ собою другое лицо этого романа, вселюбящая и въчно жертвующая собою Соня... «Жертвовать собой для счастья другихъ было привычкой Сони... Она привыкла и любила жертвовать собой»... Но въ этой въчной жертвъ собою, говорить намъ Толстой, -- величайшая хула на Духа Святого, хула на человъческую личность, и преступление это неминуемо влечеть за собой наказаніе. «Ты жиль для себя,--говорить какь-то князь Андрей Пьеру, —и говоришь, что этимъ чуть не погубилъ свою жизнь, а узналь счастье только тогда, когда сталь жить для другихъ. А я испыталъ противоположное. Я жилъ для славы. Въдь что же слава? Та же любовь къ другимъ, желаніе сдёлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы. Такъ я жилъ для другихъ, и не почти, а совствиь погубиль свою жизнь»... Пусть князь Андрей ощибается, пусть очевидно, что, любя славу, онъ вовсе не им'єль въ виду «любовь къ ближнимь», а напротивь, только добивался «любви ближнихъ»; но несомненно, что художникъ и философъ Толстой осуждаеть о ба эти пути. Добивался исключительно «любви ближнихъ» князь Андрей, жилъ только для себяи погибъ; отдалась только «любви къ ближнимъ», жила только для другихъ Соня-и осталась только въчной приживалкой у жизни. И недаромъ полная жизни Наташа примъняетъ къ Сонъ слова

Евангелія, что имущему дастся, а у неимущаго отнимется. «Она неимущій; за что? не знаю. Въ ней нѣтъ, можетъ быть, эгоизма—я не знаю; но у ней отнимается и все отнялось... Она—п у с т о ц в ѣ т ъ знаешь, какъ на клубникѣ». Вѣчная жертва собою—хула противъ личности человѣческой, такъ же какъ жизнь только для одного себя—хула противъ самой жизни. И Соня, и князь Андрей обречены поэтому на гибель, на неудачу, на страданія, на безплодіе.

Гдв же и въ чемъ же рвшение вопроса о жизни для себя и жизни для другихъ-ръшение вопроса жизни вообще? Гдъ и въ чемъ ръшение самого Толстого?-Отвъть на это надо искать въ душевной трагедіи другого искателя в'вчныхъ цівностей, столь близкаго сердцу самого автора-въ душевной трагедіи Пьера. «Кто правъ, кто виноватъ? -- думаетъ Пьеръ о жизни, и отвъчаетъ самъ себъ:--никто. А живъ--и живи: завтра умрешь»... Однако, эта примитивная философія недолго могла удовлетворять его; жизнь больно ударила этого любимаго героя Толстого и толкнула къ въчному ряду неразръшимыхъ вопросовъ: «что дурно? что хорошо? что надо любить, что ненавидъть? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляеть всемь? спрашиваль онъ себя»... Въ душъ Пьера, который раньше жилъ «для одного себя», началась теперь «сложная и трудная работа внутренняго развитія, открывшая ему многое и приведшая его ко многимъ духовнымъ сомнъніямъ и радостямъ». Толчокъ къ этому внутреннему развитію дало ему масонство, но и оно не ръшило его сомнвній и вопросовь, а только «вогнало внутрь» его духовную бользнь отчаянія, хандры и отвращенія къжизни, и бользнь эта ни на мгновение не покидала его. «Къ чему? Зачъмъ? Что такое творится на свътъ?--спращивалъ онъ себя съ недоумъніемъ по нъскольку разъ въ день, невольно начиная вдумываться въ смыслъ явленій жизни»... Но смыслъ этоть приходить только вмѣстѣ съ любовью къ жизни, съ любовью къ человѣку; пока ея нъть, всъ окружающие представляются Пьеру только «спасающимися отъ жизни», все окружающее остается неосмысленнымъ, нелъпымъ. Новый толчокъ къ жизни даетъ ему полусознан-

ная любовь все къ той же Наташъ, невъстъ князя Андрея. «Страшный вопросъ: зачёмъ? къ чему? который прежде представлялся ему въ срединъ всякаго занятія, теперь замънился для него не другимъ вопросомъ и не отвътомъ на прежній вопросъ, а представленіемъ е я... Онъ не ужасался, какъ прежде; не спрашивалъ себя, изъ чего хлопочуть люди, когда все такъ кратко и неизвъстно, --- но вспоминаль е е, и всв его сомнвнія исчезали, не потому, что она отвъчала на вопросы, которые представлялись ему, но потому, что представление о ней переносило его мгновенно въ другую, свътлую область душевной дъятельности, въ которой не могло быть праваго или виноватаго въ область красоты и любви, для которой стоило жить»... Но и эта въра любви терпить крушеніе, затемняется страшнымъ зрълищемъ войны, безсмысленныхъ убійствъ, безсмысленныхъ казней-отъ одной изъ которыхъ только случай спасаеть Пьера. Ужасная война, ужасная казнь глубоко потрясаеть душу Пьера, какъ прежде душу Толстого ужасы Севастополя и парижской гильотины. Передъ глазами Пьера разстръливають человъка, и послъ этого зрълища «въ душъ его какъ будто вдругъ выдернута была та пружина, на которой все держалось и представлялось живымь, и все завалилось въ кучу безсмысленнаго сора». Этими же словами—мы слышали—Толстой описываль и душевное состояніе князя Андрея; этими же словами говориль Толстой и о самомъ себъ. «Въ немъ, -- продолжаетъ Толстой о Пьеръ, -- въ немъ, хотя онъ и не отдавалъ себъ отчета, уничтожилась в ра и въ благоустройство міра, и въ челов в ческую, и въ свою душу, и въ Бога... Міръ завалился въ его глазахъ и остались однъ безсмысленныя развалины. Онъ чувствоваль, что возвратиться къ въръ въ жизнь не въ его власти»... Встръча съ Каратаевымъ выпрямляетъ душу Пьера; ужасъ смерти, страданія и лишенія пліна заставляеть его сь новой силой полюбить человъческую жизнь и опънить свою и всякую человъческую душу. Даже въ плену онъ созналъ себя свободнымъ; здесь, въ плену, Пьеръ поняль, что понять жизнь можно только войдя въ общую человъческую жизнь. Все принадлежить человъку, весь міръ при-

надлежить ему-даже запрятанному въ балагань, загороженный досками. «Лібса и подя открывались вдали. И еще дальше этихъ льсовь и полей виднълась свътлая, колеблющаяся, зовущая въ себя безконечная даль. Пьеръ взглянуль на небо, въ глубь уходящихъ, играющихъ звъздъ. - И все это мое, и все это во мнъ, и все это я!—думаль Пьеръ»... Все въ человъкъ, все человъка, все можеть онь вместить; но должень онь также и осуществить то, что дается ему. Вмъстить и осуществить—это и значить понять жизнь, а осуществить можно только войдя въ кипъніе жизни человъческой; и Пьеръ понимаеть, что ему надо «войти въ эту общую жизнь всемь существомь», надо уподобиться Каратаеву, для котораго «жизнь имъла смыслъ только какъ частица пълаго. которое онъ постоянно чувствовалъ»... И когда Пьеръ понялъ все это, тогда «онъ узналъ не умомъ, а всъмъ существомъ своимъ жизнью, что человъкъ сотворенъ для счастья, что счастье въ немъ самомъ, въ удовлетвореніи естественныхъ человіческихъ потребностей;... онъ узналь еще новую, утъщительную истину-онъ узналъ, что на свътъ нътъ ничего стращнаго». Но разъ нътъ ничего страшнаго, то не страшна и смерть; болье того-не страшна и жизнь; а въдь «труднъе и блаженнъе всего-любить эту жизнь въ своихъ страданіяхъ, въ безвинности страданій». А въ этомъвся жизнь, и такому принятію жизни научился Пьеръ отъ Каратаева. Инаэтомъ фундаментъ «каратаевскаго» начала построилъ Пьеръ свою новую въру въ человъка, въ жизнь, въ то «все», которое онъ назвалъ Богомъ. Съ въчной радостью въ душт Пьеръ-Толстой приняль это «все», приняль жизнь, приняль мірь, увидълъ божественное въ человъкъ, «выучился видъть великое, въчное и безконечное во всемъ... и радостно созерцалъ вокругъ себя въчно измъняющуюся, въчно великую, непостижимую и безконечную жизнь». И жизнь эта-не для одного себя, но и не только для другихь; когда Наташа хочеть пожертвовать собою памяти умершаго князя Андрея, Пьеръ возмущается: «я не виновать, что я живъ и хочу жить; и вы тоже». Мертвый въ гробъ мирно сии, жизнью пользуйся живущій. Но, пользуясь ею, помни, что жить

для себя ты можещь только живя въ другихъ и съ другими, что живя для другихъ, ты долженъ жить и для себя; одинаково неправы и жертвующій другими князь Андрей, и жертвующая собою Соня. Жизнь—это колеблющійся шаръ изъ капель, которыя то стремятся разлиться и захватить наибольшее пространство («жить для себя одного»), то уничтожаются и сливаются съ другими («жить только для другихъ»); идеаль—въ соединеніи личнаго «наполеоновскаго», и безличнаго, «каратаевскаго», начала. И тоть, кто пойметь и вмъстить это, тоть пойметь и вмъстить самую жизнь, тоть станеть исповъдывать великую религію жизни, какъ исповъдывалъ ее Пьеръ, какъ исповъдывалъ ее въ это время Толстой. «Жизнь есть все. Жизнь есть Богь. Все перемъщается, движется, и это движение есть Богь. И пока есть жизнь, есть наслажденіе самосознанія Божества. Любить жизнь—любить Бога. Трудиве и блажениве всего-любить эту жизнь въ своихъ страданіяхъ, въ безвинности страданій» 30).

«Жизнь есть все. Жизнь есть Богъ»:--воть глубочайшій художественно-философскій смысль великой эпопеи Толстого, дополняющій и освіншающій собою историко-философскую сторону романа; воть та религія, которую Толстой испов'єдываль теперь, послё двухь тяжелыхь кризисовь былой вёры, послё разочарованія и въ церковныхъ върованіяхъ, и въ редитін прогресса; воть великая подсознательная основа всего творчества, всей жизни Толстого во всё эти «пятнадцать лёть» (1862—1877 гг.), о которыхъ онъ пишетъ въ своей «Исповъди». Говорю-«подсознательная основа», потому что Толстой по промествіи этихъ пятнадцати лътъ старался убъдить себя и другихъ, что за все это время онъ быль далекъ «оть всякаго исканія общаго смысла жизни... Я писаль, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше». Глубокая религія жизни Толстого той эпохи, очевидно, была для него подсознательна; а потому Толстой, къ нашему и своему счастью, ошибался въ этомъ своемъ позднейшемъ категорическомъ заявленіи. Слишкомъ ярка и ясна была эта его

новая религія—религія жизни, для того чтобы не проявиться ясно, если и не въ области теоретической мысли, то въ области интуитивнаго художественнаго творчества; вся художественная сторона «Войны и мира» пронизана, какъ солнечнымъ свътомъ, этой радостной религіей, этой воистину жизненной философіей. «Война и миръ», гдъ столько слезъ, крови, горя,—величайшее во всей русской литературъ, воистину «солнечное» произведеніе, утверждающее, принимающее и освящающее великимъ благословеніемъ всю человъческую жизнь.

Оть въры въ благого Бога Толстой перешель когда-то къ въръ въ благодътельный прогрессъ человъчества; теперь перешель онь къ въръ въ самую жизнь, къ въръ въ человъка. «Жизнь есть все. Жизнь есть Богъ»—воть теперь призывный кличь этой въры, и върой этой Толстой жиль въ эпоху созданія двухь величайшихъ своихъ произведеній—«Войны и мира» и «Анны Карениной»; «жизнь есть Богь»—воть въ чемъ весь философскій смыслъ великой эпопеи. Мы скоро подойдемъ къ третьему кризису этой въры Толстого-ето третьей въры; теперь же всего нъсколько словь о той литературной атмосферь, въ которую попала только что рожденная великая эпопея. Ея сразу не поняль никто, или почти никто; ея истинной философской подоплеки никто не разобраль и не замътиль. Подвергалась многочисленнымь нападкамъ и возраженіямъ историко-философская сторона ро-Тургеневъ, впослъдствіи такой мана: паже восторженный поклонникъ этой эпопеи, сперва отридалъ «историчность» ея и въ историко-бытовой сторонъ романа видълъ только «кукольную комедію и шарлатанство». Такіе вполив благонам вренные критики и умные люди, какъ Шелгуновъ, видели въ романе «отсутствіе глубоко-жизненнаго содержанія, которое одно можеть дать литературному произведенію долговъчность»... Повторялась въчная исторія: чъмъ произведеніе выше, геніальнье, крупнъе, тъмъ труднъе опънить его современникамъ; и особенно приложимо это именно къ «Войнъ и миру», быть можеть, величайшему произведенію всего XIX віка не только въ одной рус-

ской литературъ. Только теперь, отойдя отъ великой эпопеи на полвъка, мы видимъ истинные ея размъры и поражаемся ея колоссальностью; только теперь критики оценили эту великую эпопею, какъ нашу русскую «Иліаду» и «Одиссею». И оцънка эта не преувеличена. Какъ въ «Иліадъ» воплощена вся полнота древне-эллинскаго духа и народнаго міровоззрівнія, такъ «Война и миръ» даеть единственное по глубинъ и захвату воплощение русскаго народнаго духа. Но кромъ этого, «Война и миръ» есть проявленіе личности одного челов'вка, Л. Толстого, художественное проявление глубины е го духа, его философіи, его міровозэрвнія, его религіи. И для исторіи русской литературы имъетъ глубоко-знаменательное значение тотъ фактъ, что это міровозэрвніе, эта философія, эта религія «Войны и мира» оказались тождественными съ міровозэр'вніемъ и подсознательной философіей другого величайщаго «солнечнаго» произведенія русской литературы XIX въка-«Евгенія Онъгина». «Война и миръ»—высшая точка на пушкинскомъ пути развитія русской литературы; въ то же время это высшая точка на пути развитія художественнаго творчества Толстого.

«Пять лѣть непрестаннаго и исключительнаго труда»—такъ Толстой опредъляеть годы, посвященные имъ «Войнъ и миру». Закончивъ въ 1869 году эту грандіозную эпопею, онъ снова отдался на время педагогической дъятельности, увлекся методикой, создаль громадную «Азбуку», которую вскоръ переработалъ и сократиль въ «Новую Азбуку», распространенную теперь въ милліонахъ экземпляровъ; въ педагогическомъ міръ онъ произвель цёлую бурю, вызваль ожесточенную журнальную полемику, обширную литературу, среди которой особенно выдъляются статьи Н. К. Михайловскаго, всецьло ставшаго на сторону Толстого. Въ эти же годы (1869 — 1873) Толстой пробуетъ снова отдаться художественному творчеству, усиленно собираеть и изучаеть матеріалы по исторіи эпохи Петра I, собираясь писать большой историческій романь; но вскорь онь разочаровывается въ главномъ геров этой эпохи, самомъ Петрв, и въ началв 1873 года бросаеть всякую мысль объ этомъ романъ. Къ тому же, отрицая роль личности въ историческомъ процессъ, Толстой могь бы только выставить Петра въ видъ русскаго Наполеона, то-есть мальчика, сидящаго въ каретъ и убъжденнаго, что это онъ править лошадьми, когда дергаеть какія-то привязанныя внутри кареты тесемки. Пришлось бы во многомъ повториться, — по крайней мфрф, повторить всю философію исторіи, уже высказанную однажды въ «Войнъ и миръ».

Но въ этомъ же 1873 году, 19 марта, Толстой «вдругъ началъ неожиданно писать романъ изъ современной жизни.

Сюжетъ романа—невърная жена и вся драма, происшедшая отъ этого» (письмо гр. С. А. Толстой къ Т. А. Кузьминской отъ 20 марта 1873 года). Случайно прочтя начало пушкинскаго отрывка «Гости съъзжались на дачу», Толстой сказалъ: «вотъ какъ надо начинать! Пушкинъ нашъ учитель. Это сразу вводитъ читателя въ интересъ самаго дъйствія». И тотчасъ же онъ набросалъ первыя фразы «Анны Карениной»: «все смъщалось въ домъ Облонскихъ»...

Такъ разсказывають въ своихъ воспоминаніяхъ очевидцы, и, конечно, все это внешне фактически верно. Но все это глубоко невърно внутрение, по существу: «вдругъ» и «сразу» можно задумать и написать мелкій разсказикь, но не «Анну Каренину». Очевидцы не могли видъть главнаго-того духовнаго, внутренняго процесса, который происходиль всё эти четыре года въ Толстомъ, въчныхъ и мучительныхъ запросовъ его о томъ, что добро, и что зло; они не знали и не могли знать, напримъръ, Толстого изучение имъ Шосильно подъйствовало на пенгауера лътомъ 1869 года или еще болъе раннее впечатлъніе-казнь рядового Шибунина, о которой Толстой впоследствіи писаль, что «случай этоть им'вль на всю мою жизнь гораздо болье вліянія, чьмь всь кажущіяся болье важными событія жизни». Съ другой стороны, «очевидцы» не знали и того, что неслучайно одна фраза Пушкина толкнула Толстого къ перу, но что все это время онъ быль подъ глубокимъ вліяніемъ художественнаго творчества Пушкина, такъ совпадавшаго съ его общимъ настроеніемъ и міровоззрівніемъ этого времени, что намъ уже случилось отмътить выше. Вліяніе формы Пушкина продолжалось и тогда, когда Толстой быль уже въ разгаръ работы надъ «Анной Карениной». Въ мартъ 1874 года онъ перечитываль прозу Пушкина и говориль, между прочимь, въ одномъ нисьмъ про «Повъсти Бълкина»: «ихъ надо изучать и изучать каждому писателю. Я на-дняхъ это сдълалъ и не могу передать того благодътельнаго вліянія, которое имъло на меня это чтеніе. Изученіе это чёмъ важно? Область поэзіи безконечна, какъ жизнь; но

всѣ предметы поэзім предвѣчно распредѣлены по извѣстной іерархіи, и смѣшеніе низшихъ съ высшими или принятіе низшаго за высшій есть одинъ изъ главныхъ камней преткновенія. У великихъ поэтовъ, у Пушкина, эта гармоническая правильность распредѣленія предметовъ доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается. Чтеніе даровитыхъ, но негармоническихъ писателей (тоже музыка, живопись) раздражаетъ и какъ будто поощряетъ къ работѣ и расширяетъ область, но это ошибочно; а чтеніе Гомера, Пушкина сжимаетъ область, и если возбуждаетъ къ работѣ, то безошибочно» 31).

Такъ «безошибочно» быль возбуждень Толстой къ работъ надъ «Анной Карениной» и работалъ надъ ней съ небольшими перерывами четыре года (съ 1873 по 1877 гг.), четыре послъднихъ года его счастливыхъ «пятнадцати лътъ», о которыхъ мы уже говорили съ его словъ. Это позволяло бы, повидимому, заключить, что художественная философія романа въ главномъ и существенномъ была сходна съ такой же философіей «Войны и мира»; мы увидимъ скоро, такъ ли это. Что касается внъшней стороны романа, его дъйствующихъ лицъ, преломленія окружающей жизни въ творчествъ Толстого, то объ «Аннъ Карениной» можно сказать то же, что о «Войнъ и миръ». Почти всъ дъйствующія лица взяты Толстымъ изъ жизни, но процессомътворчества возведены до яркихъ художественныхъ типовъ. Интересно отмътить, что дочь Пушкина, баронесса Гартунгь, послужила для Толстого по своей внёшности прототипомъ Анны Карениной; на фабулу романа натолкнула Толстого смерть подъ колесами вагоновъ сосъдки Толстыхъ по имънію, Анны Степановны Бибиковой. Впрочемъ, все это имфетъ значение только при детальномъ изученіи романа; здёсь же для насъ важно только однототь несомивнный факть, что Левинъ романа слишкомъ очевидно самъ Левъ Толстой, такъ что въ душевномъ развити героя мы будемъ следить за духовнымъ ростомъ самого автора, такъ же какъ это было уже и въ юношеской трилогіи Л. Толстого,

и въ образъ Оленина, и въ князъ Андреъ, и въ Пьеръ. Все вътой же средъ «средне-высшаго круга» вращаются герои Толстого, бытописателемъ все того же старо-дворянскаго круга является Толстой — и это естественно: онъ могь описывать только ту среду, въ которой росъ съ дътства, съ которой былъ связанъ узами знакомства, дружбы, родства. Въ этой же средъ происходитъ и все дъйствіе «Анны Карениной»; но тема и содержаніе романа такъ глубоки, проблемы, возбуждаемыя ими, такъ общечеловъчны, что общій смыслъ романа уходить далеко вглубь отъ всякихъ сословныхъ или классовыхъ формъ мысли.

Каковъ же этотъ общій смыслъ «Анны Карениной»? Современные роману критики искали этотъ смыслъ въ проблемахъбрака, свободной любви, отношенія къ ней общества и т. и.; Л. Толстой иронически поздравляль ихъ, говоря: «ils en savent plus long que moi»... Если бы они дожили до появленія «Живого Трупа», гдъ, кстати сказать, снова дъйствуеть Анна Каренина, какъ бы достигшая уже старости, они бы сказали, что темой пьесы является проблема развода... Тысячи подобныхъ утвержденій-это та одна милліонная часть правды, которая только затемняеть смысль романа, и надъ провозглашениемъ которой смъялся самъ Толстой. Единственнымъ человъкомъ, сразу понявшимъ глубокій смыслъ романа Толстого, быль единственный человъкь, равный Толстому по значению въ русской литературъ-Достоевскій. Онъ первый увидъль, что основной смыслъ-«Анны Карениной» вовсе не въ темахъ брака, свободной любви, развода и тому подобнаго, а въ глубокомъ и въчномъ вопросъ вины и страданія человъческаго. И кому же было первому указать на это, какъ не автору написаннаго на ту же тему «Преступленія и наказанія»?

Самъ Толстой подчеркнулъ смыслъ своего романа эпиграфомъ: «Мит отмщение и Азъ воздамъ». Но отсюда какъ разъ и начинаются тт вопросы, которые только и могутъ ввести въ глубокую сущность того, что Толстой хоттъв сказать въ формт художественнаго творчества, а не голой отвлеченной мысли.

«Мив отмщеніе»: за что же, за какой же грвхъ «отмщеваеть» этоть израильскій Богь несчастной Аннь? За нарушеніе «супружеской върности»? За измъну «супружеской любви»? Но самъ авторъ знаетъ и показываетъ, что едва ли не безмърно высшимъ гръхомъ была та супружеская «върность» и «любовь», которая много льтъ подъ рядъ соединяла молодую красавицу Анну съ сухимъ чиновникомъ, съ слизнякомъ Каренинымъ. «Азъ воздамъ»: но почему же тогда не воздаеть этоть «Азъ» брату Анны, милейшему и безпутнъйшему Стивъ Облонскому? Въдь тотъ тоже измънилъ «супружеской върности и любви»; недаромъ именно съ этого начинается все дъйствіе романа. Но то, что прощается Стивъ Облонскому, за то сторицей воздается Аннъ Карениной. И мы, читатели, мы знаемъ и чувствуемъ, что это такъ и должно быть, что это справедливо: вотъ въ чемъ главное дело, вотъ въ чемъ убъдить можетъ только тайна искусства. Страдаютъ и гибнуть всегда лучшіе и высшіе-таковь законь въ области человъческаго духа; убъдить въ справедливости такого закона можеть только художественное творчество. Мы знаемъ, что трагедія духа недаромъ дается, что званіе человъка надо выстрадать; но страданіе это дается только избраннымъ. Лучше быть несчастнымь человъкомь, чъмь довольной свиньей: не всв достойны осуществить собою эту истину, высказанную П. Ст. Миллемъ. Стива Облонскій всегда будеть румянъ, свъжъ, весель, доволень собою и міромь; но воть Вронскому дано путемь мучительнаго процесса развитія стать челов' комъ изъ «глупой говядины». «Это быль очень глупый, и очень самоувъренный, и очень здоровый, и очень чистоплотный человъкъ, и больше ничего»---воть что видить Вронскій въ зеркаль; долгій и мучительный путь пришлось ему совершить, для того чтобы изъ этой «глупой говядины» вырости до человъка. Пусть то же самое примънимо и къ Аннъ, пусть все это справедливо, пусть все это такъ; но все-таки-за что же «отмщеніе», за какую вину воздаеть «Азъ» Аннъ и Вронскому?

Въ первыхъ трехъ частяхъ романа авторъ показалъ намъ

растущую, какъ сижный комъ, страсть Анны къ Вронскому; и страсть эта, эта первая любовь Анны вызываеть только сочувствіе читателя; самь Каренинь, со своим и тупыми ногами, выдающими ся хрящами ушей, похрустывающими нальцами-этотъ Каренинъ съ первыхъ же страницъ становится читателю почти настолько же физически противнымъ, какъ и самой Аннъ. Анна ему уже изм'внила, сказала ему объ этомъ; но онъ не считаеть себя вправъ «разрывать тъхъ узъ, которыми мы связаны властью свыше»... Въ своей чиновнической сухости, въ своей формальной правот онъ еще бол е невыносимъ Анн и читателямъ; и Толстой не пожальть красокь, чтобы дать это понять, дать это почувствовать. «Правъ! Правъ!--говоритъ про своего мужа Анна, и ея устами говорить авторь, ея чувствами живеть читатель:разумвется, онъ всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушенъ! Да, низкій, гадкій человъкъ! И этого никто, кромъ меня, не понимаетъ... Они не знаютъ, какъ онъ восемь лътъ душиль мою жизнь, душиль все, что было во меж живого, что онъ ни разу и не подумаль о томъ, что я живая женщина, которой нужна любовь... Я ли не старалась, всёми силами старалась, найти оправдание своей жизни? Я ли не пыталась любить его, любить сына, когда уже нельзя было любить мужа? Но пришло время, я поняла, что я не могу больше себя обманывать, что я живая, что я не виновата, что Богъ меня сдёлаль такою, что мей нужно любить и жить». И она права, она невиновата, ее сделаль такою тоть самый Богь, именемъ котораго гласить эпиграфъ: «Мнъ отмщение и Азъ воздамъ». Она только проситъ спокойствия, молить свободы: «я просто хочу жить; никому не дълать зла, кромъ себя. Это я имъю право, не правда ли»? И даже добродътельная Долли, недоумъвая, спрашиваетъ себя: «въ чемъ же она виновата? Она хочеть жить. Богь вложиль намь это въ душу». И все-таки за какую-то вину ей «воздается отмщеніе»; за какуюто вину она, правая передъ Богомъ и передъ людьми, несеть тяжелый кресть искупляющаго страданія ³²).

Оь изумительнымъ мастерствомъ подготовляеть Толстой

почву для единственнаго отвъта на всъ эти вопросы. Сначала это только одна напыщенная фраза сухого чиновника Каренина, убъждающаго Анну, что она стоитъ на опасномъ пути: «жизнь наша связана не людьми, а Богомъ. Разорвать эту связь можетъ только преступленіе, и преступленіе этого рода влечеть за собой кару». Конечно, не Толстой, а Каренинъ говорить эти слова; но въ высшей степени интересно, что слова эти-почти буквальное повтореніе эпиграфа ко всему роману: «Мив отмщеніе и Азъ воздамъ». И когда Каренинъ, узнавъ объ измѣнѣ жены, мучается безсознательнымъ желапіемъ, «чтобы она не только не торжествовала, но получила возмездіе за свое преступленіе», то разв'я это его желаніе не находить себ'в отклика все въ т'яхъ же безпощадныхъ словахъ эпиграфа? И когда Анна, въ сознаніи своей правоты, задается вопросомъ: «неужели они не простять меня, не поймуть, какъ все это не могло быть иначе»?,--то, «остановившись и взглянувь на колебавшіяся оть в'тра вершины осинь съ обмытыми, ярко блистающими на холодномъ солнцв листьями, она поняда, что они не простять, что все и вск къ ней теперь будуть безжалостны, какъ это небо, какъ эта зелень». Безжалостное небо и безжалостная зелень-это значить, что возмездіе лежить въ душъ самой Анны; и Толстой, повторяю, съ изумительнымъ мастерствомъ не только вскрываетъ причинныя нити этого возмездія, но и показываеть его нравственную с праведливость, даеть отвъть на вопросъ: «за что»? 33).

Вронскій быль «глупой говядиной»,—трагедія сдѣлала его человѣкомъ. Каренинъ былъ сухой чиновной душой,—страданія сдѣлали его человѣкомъ. Художникъ, начиная съ четвертой части романа, дѣлаетъ воочію чудо: заставляетъ насъ сначала пожалѣть, а потомъ чуть ли не полюбить того самаго Каренина, который раньше былъ такъ невыносимъ и для Анны, и для читателей. Сначала это почти смѣшно, когда въ объясненіи съ женой Каренинъ взволнованно говоритъ, что «вы только себя помните! Но страданія человѣка, который былъ вашимъ мужемъ, вамъ неинтересны. Вамъ все равно, что вся жизнь его рушилась, что

онъ пеле... педе... пелестрадалъ»... Аннъ это взволнованное «нелестрадаль» кажется сперва смішно, потомь ей стыдно за свой смёхъ, потомъ ей въ первый разъ становится жалко Каренина, «въ первый разъ она на мгновеніе почувствовала за него, перенеслась въ него». Но это чувство было у нея мимолетно, читатель же съ этой страницы не можеть уже забыть нельпаго «пелестрадалъ» Каренина; изъ сухого чиновника онъ вырастаетъ въ страдающаго человъка. Мало того-онъ вырастаеть въ героя, на котораго отъ стыда не смъетъ поднять глазъ Вронскій; сцена у постели умирающей отъ родовъ Анны, «геніальная сцена» (по характеристикъ Достоевскаго), ставитъ Каренина на такую высоту, которая недоступна для другихъ героевъ романа. И съ ясновиденіемъ умирающей, Анна въ эту минуту прозреваеть въ Каренинъ человъка, человъка добраго, незлобиваго, -- она говорить даже «святого», и она гордится за него. Она имъеть право говорить такъ, и Вронскій въ эти минуты чувствуетъ въ смѣшномъ и обманутомъ мужъ «что-то высшее и даже недоступное» его пониманію. Это высшее-«счастіе прощенія», которое растонило душу сухого чиновника и сдълало его человъкомъ. И онъ подставляеть другую щеку, онъ принимаеть кресть «смъшного мужа» и готовъ сдълаться посмъщищемъ свъта: «вы можете затоптать меня въ грязь, сдёлать посмёшищемъ свёта, -- говорить онъ Вронскому, — я не покину ея и никогда слова упрека не скажу вамъ». И его дъйствительно затаптывають въ грязь, такъ какъ выздоровъвшая Анна уходить съ Вронскимъ, оставляя его «непоправимо несчастнымъ» 34).

Когда Анна ушла, Каренинъ сперва не могъ понять, какъ могло это случиться. «Если бы жена тогда, объявивъ о своей невърности, ушла отъ него, онъ былъ бы огорченъ, несчастливъ, но онъ не былъ бы въ томъ, для самого себя безвыходномъ, непонятномъ положеніи, въ какомъ онъ чувствовалъ себя теперь. Онъ не могъ теперь никакъ примирить свое недавнее прощеніе, свое умиленіе, свою любовь къ больной женъ и чужому ребенку съ тъмъ, что теперь было, то-есть съ тъмъ, что, какъ бы въ на-

траду за все это, онъ теперь очутился одинь, опозоренный, осмъянный, никому ненужный и встми презираемый... Онъ чувствоваль, что не можеть отвратить оть себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не оттого, что онъ былъ дуренъ (тогда бы онъ могъ стараться быть лучше), но оттого, что онъ постыдно и отвратительно несчастливъ. Онъ зналъ, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будуть безжалостны къ нему». Но именно въ это самое время, когда Каренинъ былъ непоправимо и непростительно несчастливъ, Анна говорила о себъ: «стыдно признаться, но я... я непростительно счастлива». И при этомъ она сознавала себя причиной непоправимаго несчастія мужа. «Анна чувствовала себя непростительно счастливою (недаромъ же въ разныхъ мъстахъ авторъ говоритъ о непростительномъ счасти Анны) и полною радости жизни. Воспоминаніе несчастія мужа не отравляло ея счастія. Восноминание это, съ одной стороны, было слишкомъ ужасно, чтобы думать о немъ; съ другой стороны, несчастие ея мужа дало ей слишкомъ большое счастіе, чтобы раскаиваться». Она оторвала отъ себя тонувшаго человъка, а самавыплыла и спаслась; но къ утонувшему по ея винъ чувствовала не столько жалость, сколько отвращение. Она хотъла искупить свое счастие и несчастіе другого добровольными страданіями-оть разлуки сь сыномъ, отъ потери «честнаго имени», -- «но какъ ни искренно хотъла Анна страдать, она не страдала». Страданія должны были притти и пришли позже... И въ результатъ передъ нами тъсно связанныя одно съ другимъ причинной связью-непоправимое несчастіе одного человъка и непростительное счастіе другого. И слышится голосъ грознаго, карающаго, ветхозавътнаго Бога: «Мнъ отмщение и Азъ воздамъ» 35).

Воть, стало быть, «за что» отмщеніе и воздаяніе: за страда нія человъка. Пусть Каренинь скоро падаеть сь той высоты, на которой онь не могь удержаться, пусть онь играеть потомъ только роль прощающаго и незлобиваго человъка, пусть раскаивается даже въ лучшемъ своемъ поступкъ и со стыдомь

вспоминаеть о немь, пусть злоба и мстительность побъждають человъка въ его чиновничьемъ сердцъ, ---но его подлинныя страданія, его гибель, его несчастіе не могуть быть заглажены ничъмъ. И во имя высшей справедливости Анна не можеть. Анна не смъеть безнаказанно пользоваться своимъ «непростительнымъ» счастіемъ. И оно ей действительно не прощается. Достоевскій сперва въ «Братьяхъ Карамазовыхъ», а затёмъ въ своей знаменитой пушкинской ръчи, вовсе не имъя въ виду «Анны Карениной», сказаль и формулироваль то самое, что Толстой высказаль въ своемъ романъ яркими художественными образами. Достоевскій задавался вопросомь-почему Татьяна не могла уйти съ Онъгинымъ отъ стараго мужа, изувъченнаго въ сраженіяхъ смѣшного генерала? «Я другому отдана и буду вѣкъ ему върна» отчего, почему? Потому, отвъчалъ Достоевскій, -что человъкъ не можеть строить своего счастія на несчастін другого. Въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» этотъ вопросъ Достоевскій ставиль обобщеннье устами Ивана: «представь, что это ты самъ, -- говоритъ Иванъ Алешъ, -- возводишь зданіе судьбы человъческой съ цълью въ финалъ осчастливить людей, дать имъ, наконець, миръ и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице... и на не отомщенныхъ слезкахъ его основать это зданіесогласился бы ты быть архитекторомъ?.. И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которыхъ ты строишь, согласились бы сами принять свое счастіе на неоправданной крови маленькаго замученнаго, а принявь, остаться навъки счастливыми?» Отрицательный отв'єть для Достоевскаго несомн'єнень. Въ своей пушкинской ръчи опъ тъ же вопросы относить не къ человъчеству и замученному невинному созданію, а къ Татьянъ съ Онъгинымъ и смѣшному старому генералу. Если для счастія съ Онѣгинымъ Татьянъ надо всего на всего причинить «непоправимое несчастіе» одному только человъку, пусть смъшному, пусть ничтожному, -- можеть ли она согласиться на такое счастіе? А если согласится, то будеть ли счастлива?

Въ отвътъ на этотъ вопросъ-главная тема, главный смыслъ «Анны Карениной», все значеніе грознаго эпиграфа, внутренняя необходимость и справедливость котораго такъ геніально вскрываются мало-по-малу въ развитіи романа. И въ этомъ отношеніи «Анна Каренина» есть какъ бы продолжение и завершение того самаго «Евгенія Онъгина», о которомъ говорилъ Достоевскій. Татьяна, по его объясненію, не хотіла и не могла сділать «непоправимо несчастнымъ» своего мужа, котораго она не любила; не могла и не хотвла строить своего счастія на несчастіи другого. Анна сдълала этотъ шагъ-и вотъ за это-то «Мнъ отмщеніе и Азъ воздамъ». Въ послъдующемъ несчасти Анны авторъ заставляеть читателей видъть выстую справедливость-искупленіе вины; и вина эта-муки, причиненныя человъку. «Страданіе есть путь искупленія»—эту любимую мысль Достоевскаго, въковую народную и всемірную мысль. Толстой не разъ выражаль въ своихъ произведеніяхъ и въ письмахъ («Страданіе и есть искупленіе», говорить онь, напримірь, ВЪ одномъ 1891 года). Но искупленіе это можеть быть или слёдствіемъ сознанія вины, или быть неосознаннымь; примъръ перваго мы увидимъ еще въ позднъйшемъ «Воскресеніи», примъръ второго видимъ въ «Аннъ Карениной». Авторъ шагъ за шагомъ развиваеть нить событій, изъ которыхъ создается та наутина, въ которой гибнеть Анна; жельзная необходимость неизбъжно и фатально приводить ее къ гибели. Ее мучаеть часто во снъ кошмаръ: старичокъ съ взлохмаченной бородой что-то дълаетъ, нагнувшись надъ жельзомъ, приговаривая какія-то слова; дьлаеть какое-то страшное дело въ железе надъ нею, не обращая на нее вниманія. Мы знаемъ, какія слова онъ приговариваетъ,-ихъ Толстой поставилъ эпиграфомъ къ роману; но и смыслъ этихъ словъ намъ теперь такъ же понятенъ, какъ и неизбъжная гибель Анны подъ грохочущимъ жельзомъ проходящаго повзда.

Для Анны спасенія не было. Она принесла въ жертву своему счастію несчастіе другого—и погибла; если бы она принесла въ жертву свое счастіе и осталась бы жить съ ненавистнымъ ей

мужемъ, она обрекла бы себя на въчное несчастіе. Что же дълать? По жельзному закону жизни-внышняя гибель ожидаеть лучшихъ и достойнъйшихъ; подлинный герой-всегда обреченъ въ жертву, ибо величіе, геройство и вообще человъческое достоинство надо выстрадать. Когда-то на этотъ законъ жизни и именно по этому же поводу-съ ненавистью обрушивался Бълинскій, предвосхищая мучительные вопросы и Достоевского, и Толстого. Для осуществленія «трагическаго» избирается самою жизнью «герой, благороднъйшій сосудь духа, какъ самый жирный баранъ для закланія» — горько иронизироваль Бълинскій; этому герою, для осуществленія «нравственнаго закона», приходится либо принести свое сердце въ жертву «долгу», т. е. страдать, либо быть побъжденному своей страстью, т. е. опять-таки страдать подъ гнетомъ «долга». (Въ этихъ немногихъ словахъ разсказаны двъ громадныя исторіи-исторія Татьяны Лариной и исторія Анны Карениной). «Стоить ли жить въ томъ и другомъ случав!-восклицаеть Бълинскій:—я... я не герой, но люблю героевь, и въ иныя минуты мнъ кажется, что я пожертвоваль бы тысячью жизнями въ ознаменованіе моей безконечной любви и безконечнаго умиленія къ благородной жертвъ долга, я всегда предпочту безмольное ея страданіе беззаконному, хотя и божественному блаженству; но законъ-то, осуждающій на страданіе повинующагося ему, такъ же какъ и не повинующагося, законъ-то этоть я и ненавижу, и презираю»... 36).

Лучше погибнуть, чёмъ погубить—это, конечно, мысль и Вёлинскаго, и Достоевскаго, и Толстого; но въ этомъ же романё Толстой въ художественныхъ образахъ пробуеть дать кромё отрицательнаго еще и положительный выводь. Какъ жить?—спрашиваеть онъ себя все время, спрашиваль себя въ «Войнё и мирё», спрашиваеть и теперь. Отвётомъ служила ему въ это время исповёдуемая имъ религія жизни: «Жизнь есть все. Жизнь есть Богь». Но у этого Бога-Жизни есть свои желёзные законы необходимости и справедливости—мы видёли это на Аннё. Поневолё еще и еще разъ задается Толстой все тёмъ

же вопросомъ «какъ жить?», и параллельно съ романомъ Анны даетъ намъ еще разъ исторію своихъ исканій, своихъ запросовъ, своихъ сомнѣній и отвѣтовъ въ исторіи и развитіи второго главнаго героя романа—Константина Левина, съ его вопросомъ и отвѣтомъ: «какъ жить?—жить для души».

Левинъ-то все тотъ же Оленинъ, все тоть же Левъ Толстой въ его въчномъ развитіи. Снова, съ первыхъ же страницъ романа, мы встръчаемся съ въчными «вопросами» Толстого---«съ тъми вопросами о значеніи жизни и смерти для него самого, которые въ послъднее время чаще и чаще приходили ему на умъ». Примитивная философія Облонскихъ, эта опошленная религія жизни («цѣль образованія—изъ всего сдѣлать наслажденіе»), не можеть, конечно, удовлетворить Левина: «если это цель, то я желаль бы быть дикимъ», отвъчаеть онъ. Общее для всъхъ кающихся дворянъ семидесятыхъ годовъ чувство соціальной вины и вопросъ «какъ мнъ жить свято?»—не миновали и Левина; вопросы религіозные и философскіе онъ пытается одно время удовлетворить соціальнымь решеніемь. «Мне, главное, надо чувствовать, что я невиновать», говорить онь; но какь же чувствовать себя соціально невиноватымъ, имъя тысячи десятинъ земли и тысячи рублей дохода? Спасенія Левинъ ищеть и въ работъ на «общее благо», въ своеобразныхъ сельскихъ кооперативахъ; и въ крестьянскомъ трудъ; и въ мечтахъ, подобно Оленину, объ опрощеніи; ему приходить въ голову мысль, что «оть него зависить перемънить ту столь тягостную, праздную, искусственную и личную жизнь, которою онъ жилъ, на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь». Это легко въ теоріи; но-что скажеть Кити?.. Отвътъ на это дала послъдующая жизнь Л. Толстого; сопіальные же эксперименты Левина кончаются той теоріей, что, работая для себя и семьи, онъ работаетъ этимъ самымъ и для общаго блага. Именно къ этому мъсту романа только и могуть быть отнесены позднъйшія слова Л. Толстого изъ «Исповъди»: «я писаль, поучая тому, что для меня было единой истиной что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше»... Такимъ образомъ, въчный вопрось—«жить для себя» или «жить для другихъ»?—ръшался самымъ неожиданнымъ образомъ: живи для себя, и уже этимъ самымъ ты будешь приносить благо другимъ... «Прежде, когда Левинъ старался сдълать чтонибудь такое, что сдълало бы добро для всъхъ, для человъчества, для Россіи, для всей деревни, онъ замъчаль, что мысли объ этомъ были пріятны, но самая дъятельность всегда бывала нескладная ...теперь же, когда онъ, послъ женитьбы, сталъ болъе и болъе ограничиваться жизнью для себя, онъ, хотя не испытывалъ болъе никакой радости при мысли о своей дъятельности, чувствовалъ увъренность, что дъло его необходимо»... 37). Этимъ и кончились соціальные эксперименты Левина,—но не Толстого; мучительныя философскія и религіозныя исканія вскоръ заставили его еще и еще разъ пересмотръть и перестрадать эти свои ръшенія соціальнаго вопроса.

Нъть ничего удивительнаго, что соціальныя исканія вскоръ стали все болье и болье затыняться у Толстого вопросами философскими и религіозными. Прежде чемъ ответить на вопросъ «какъ жить?», надо было сумъть отвътить на болъе общій вопрось: «зачъмъ жить?», ибо, ограничиваясь отвътомъ на вопросъ «какъ?», мы лишь implicite намъчаемъ пути рътенія вопроса «зачьмъ?», вь то время какъ отвъчая на вопросъ «зачьмъ?» мы уже тьмъ самымъ explicite ръщаемъ вопросъ «какъ?». Въ первомъ случаъ мы опредъляемъ только норму личнаго поведенія, а это не даеть еще полнаго отвъта на вопросъ о цъли; во второмъ же случаъ, ръщая проблему цъли, мы тъмъ самымъ вполив и подробно опредъляемъ норму личнаго и общественнаго поведенія. «Какъ жить?»—это только практическій вопрось, різшаемый часто на почвъ соціально-политической, и онъ неизбъжно входить, какъ часть, въ болье общій вопрось-«зачымь жить?», рышенія котораго можно искать только на почвъ философской и религіозной. Очень часто бываеть, что, тщетно стремясь понять жизнь путемъ отвъта на первый вопросъ, человъкъ приходить въ концъ концовъ къ сознанію необходимости прежде всего дать отвъть

на второй вопросъ, вопросъ болѣе основной: зачѣмъ ты живешь? Зачѣмъ радости и страданія? Зачѣмъ зло? Зачѣмъ добро? Зачѣмъ вообще жизнь, зачѣмъ жить, хорошо или дурно, справедливо или несправедливо, во злѣ или въ добрѣ?

Вопросы эти, какъ это и съ Л. Толстымъ было, стали передъ Левинымъ послъ того, какъ онъ вдругъ увидълъ и понялъ, что на свътъ существуетъ с мерть. Это попрежнему основной, главный вопрось для Толстого; и не случайно всъ главы въ «Аннъ Карениной» беззаглавны, за исключеніемъ одной только двадцатой главы пятой части: только одна она озаглавлена-«Смерть». По сравнению со смертью все остальное человъческое слишкомъ мелко, чтобы заслуживать особаго заглавія... И стоить ли послъ этого останавливаться на вопросъ «какъ жить?»—думаеть Левинъ. «Только что ему немного уяснился вопросъ о томъ, какъ жить, какъ представился новый неразръшимый вопросъ-смерть». А вопросъ «смерть» и есть иными словами—«зачьмъ жить?». Брать Николай умираеть, и Левинъ переживаеть его смерть, какъ бы свою. «Смерть, неизбъжный конецъ всего, въ первый разъ съ неотразимою силою представилась ему. И смерть эта, которая была туть, въ этомъ любимомъ братъ, была совсъмъ не такъ далека, какъ ему прежде казалось. Она была и въ немъ самомъ-онъ это чувствовалъ. Не нынчетакъ завтра, не завтра, такъ черезъ тридцать лътъ, развъ не все равно! А что такое была эта неизбъжная смерть, онъ не только не зналъ, не только никогда и не думалъ объ этомъ, но не умълъ и не смъль думать объ этомъ. - Я работаю, я хочу сдълать что-то, а я забыль, что все кончится, что-смерть»... Это все тъ же мысли, которыя мучали Толстого пятнадцатью годами ранве, послв смерти брата Николая; теперь, проживъ эти счастливые пятнаддать лъть, онъ снова возвращается къ тъмъ же вопросамъ и мученіямъ. Сама жизнь заставила его вернуться къ нимъ: какъ разъ въ эпоху творчества надъ «Анной Карениной» смерть снова посътила домъ Толстого; между 1873 и 1875 гг. у него умерло трое маленькихъ дътей и восьмидесятилътняя тетушка его,

Юшкова. Смерть дътей глубоко поразила Толстого и съ новой силой поставила передъ нимъ вопросъ «зачъмъ?»; зачъмъ было ребенку родиться, чтобы умереть, не проживъ и нъсколькихъ лътъ? Зачъмъ смерть? Смерть старухи Юшковой потрясла его еще больше: зачёмъ и для чего жила она эти восемьдесять лёть? Зачьмъ жизнь? «Эта смерть старухи 80-ти льтъ, —писаль тогда же Толстой, --подъйствовала на меня такъ, какъ никакая смерть не дъйствовала;... часу не проходить, чтобы я не думаль о ней. Хорошо върующимъ, а намъ труднъе»... «Что я думаю безпрестанно о вопросахъ, значенім жизни и смерти и думаю, какъ только можно думать серьезно-это несомивнно. Что я желаю всвми силами души получить разръщение мучающимъ меня вопросамъ и не нахожу ихъ въ философіи-это тоже несомнънно; но чтобы я могь повърить-мнъ кажется невозможно»... Такъ снова начинались тъ мучительныя исканія, которыя вскоръ привели къ новому, третьему кризису въры Толстого 38).

Возвращаемся, однако, къ Левину; въроманъ его тоже спасаетъ на время, какъ и Толстого, семейная жизнь, Кити, дъти; но вопросъ «зачемъ?» вскореснова овладеваетъ всеми его мыслями; онъ, счастливый семьянинь, становится близокь къ самоубійству. Все это-буквально то же самое, что мы только что слышали и что нъсколькими годами позже еще услышимъ отъ самого Л. Толстого въ его «Исповъди». И спасается Левинъ тъмъ же самымъ: надо жить для души, для добра, для Бога; это даеть Левину-Толстому объясненіе жизни, отвъть на вопрось «зачьмь», совершенно не похожій (полагаеть онь) на прежніе его отвъты-отвъты религіи жизни и религіи прогресса. «Прежде-размышляеть Левинья говориль, что въ моемъ теле, въ теле этой травы и этой букашки совершается по физическимъ, химическимъ, физіологическимъ законамъ обмънъ матеріи. А во всъхъ насъ, вмъстъ съ осинами и съ облаками, и съ туманными пятнами совершается развитіе. Развитіе изъ чего? во что? Безконечное развитіе и борьба... Точноможеть быть какое-нибудь направление и борьба въ безконечномъ! И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряженіе мысли по этому пути, мнѣ все-таки не открывается смыслъ жизни, смыслъ моихъ побужденій и стремленій. Теперь же я говорю, что я знаю смыслъ моей жизни: жить для Бога, для души. И смыслъ этотъ, несмотря на свою ясность, таинствененъ и чудесенъ. Таковъ же и смыслъ всего существующаго»... Такъ было съ Левинымъ-Толстымъ. Религія жизни, исповѣдывавшаяся Толстымъ въ теченіе пятнадцати лѣть, уступаеть свое мѣсто первой вѣрѣ героя «Юности»—вѣрѣ въ совершенствованіе и Бога-Добро. Но объ этомъ третьемъ и послѣднемъ кризисѣ міровоззрѣнія Л. Толстого мы скажемъ, говоря объ «Исповѣди»; въ «Аннѣ Карениной» только первые проблески еще несформировавшейся новой вѣры.

Однако, и безъ этого смыслъ романа достаточно ясенъ. Трагедія Анны и трагедія Левина взаимно дополняють другь друга; и если изъ жизни князя Андрея и Пьера можно было притти къ выводу: «жизнь есть все. Жизнь есть Богь», то жизнь Анны и Левина приводила-отрицательно и положительно-къ другой формулировкъ: «добро есть все. Добро есть Богь». И если не по закону этого «добра» ведется жизнь, тогда начинаеть свою работу Старичокъ надъ жельзомъ, приговаривая въчныя слова: «Мнъ отмщение и Азъ воздамъ». И эта желъзная необходимость не есть какой-либо внёшній Богь, — она заключена въ самой душъ человъческой. Не историческій фатализмъ, какъ въ «Войнъ и миръ», а своего рода психологическій фатализмъ властно руководить движеніями души свободнаго человъка. И попрежнему эпиграфомъ къ роману могли бы стоять слова, взятыя Толстымъ уже и для «Ясной Поляны», журнала 1862 года: «Du glaubst zu schieben und du bist geschoben». Но этотъ исихологическій фатализмъ царить не только въ причинномъ ряду событій; онъ оказывается тождественнымь и съ этической нормой, съ закономъ справедливости. Чуть человъкъ преступаетъ «добро», его ждетъ казнь въ немъ самомъ; искупительныя страданія являются лишь осуществленіемъ справедливости въ мір'в нравственномъ. Таковъ «предвъчный законъ», причинъ котораго, -- говоритъ Толстой---

намъ не дано понять; мы можемъ лишь выявить существованіе этого закона. Другой предвъчный законъ—законъ любви, какъ осуществленія добра, царить скрытый въ душъ человъка и можетъ сдълать подлиннымъ героемъ, подлиннымъ человъкомъ даже чиновника Каренина.

Такова «сукровица» этого романа Л. Толстого. Конечно, сукровица эта незамътно заключена въ плоти и крови художественнаго творчества; идеи эти выражены не въ словесныхъ формулахъ, а, по выраженію Достоевскаго, «въ огромной исихологической разработкъ души человъческой съ страшной глубиной и силой, съ небывалымъ доселъ у насъ реализмомъ художественнаго изображенія». Есть сукровица, но есть и кровь, и плоть, и кости, и біеніе истинной жизни, далекой отъ всякихъ схемъ; для того, чтобы выявить все это, пришлось бы перевести на блёдный языкъ отвлеченной мысли все то, что художникъ сказалъ красочнымъ и образнымъ словомъ живого творчества. И самъ Толстой сказаль по этому поводу: «если бы я хотъль сказать словами все то, что имълъ въ виду выразить романомъ, то я долженъ бы былъ написать романь тоть самый, который я написаль, сначала». Это несомнънно такъ; но все же мы можемъ въ немногихъ словахъ выразить главный смысль романа, понять самую «сукровицу» грандіозной исихологической эпопеи, какъможно по справедливости назвать этотъ романъ Толстого. Снова вся жизнь, снова кипъніе всей жизни здъсь передь нами; въ «Войнъ и миръ» сценой была вся Европа, въ «Аннъ Карениной»-узкая подоска петербургскихъ и московскихъ гостиныхъ и подмосковныхъ деревень. Но читатель этого не замъчаеть: размахъ исторической эпопеи возмъщается глубиной эпопеи психологической; и здёсь, и тамъ-жизнь во всей ся широте, во всей ся глубине. На-ряду съ великими произведеніями Достоевскаго, «Война и миръ» и «Анна Каренина» навсегда останутся непревосходимыми и высочайшими произведеніями всей русской литературы.

Это ясно намъ теперь; этого не видъли (исключенія не въсчеть) въ семидесятыхъ годахъ. Настолько не видъли, что при-

сяжные критики того времени смъялись надъ «безсодержательностью» этого романа... Катковъ, въ «Русскомъ Въстникъв» котораго печатался этоть романь, не пожелаль пом'єстить въ журналъ восьмую часть романа. Даже Достоевскій, понимавшій Толстого, какъ никто, даже онъ упрекалъ Толстого за эту восьмую часть романа—за «отпаденіе Л. Толстого отъ русскаго всеобщаго и великаго дъла», дъла освобожденія турецкихъ славянъ, къ которому Левинъ относится отрицательно. Тогда еще не было видно, что отрицаніе Левина-первый шагь къ отрицанію «противленія злу насиліемь», а это скоро легло во главу угла новой въры Толстого. Въ этомъ отношении, какъ и во многихъ другихъ («опрощеніе» Левина, кризись его былой въры, новая втра и т. д.), «Анна Каренина» является широкимъ введеніемъ къ цѣлой громадной полось новой дъятельности Л. Толстого, дъятельности уже не всецъло художественной, но возвеличившей его имя больше, чёмь двё его великія эпопен. Эта дёятельность моралиста и проповъдника была только проявлениемъ и продолжениемъ той самой религіозной философіи, которая, мъняясь, проходила черезъ всю художественную дъятельность Толстого.

«Анна Каренина» была испосредственнымъ введеніемъ въ полосу новаго міровозэрвнія Л. Толстого; кризись религін жизни-воть что мы видели въ Левине. Такъ было и съ Толстымь. Въру въ церковнаго Бога онъ потерялъ давно, въ пятидесятыхъ годахъ; ее замънила ему религія прогресса. Въ шестидесятыхъ годахъ съ нимъ произощелъ новый кризисъ-разочарованіе въ религіи прогресса и зам'вна ся новой в'врой, новой подсознательной религіей-религіей жизни. И поистин'в великой была эта религія, если судить о ней по ея последствіямь, но ея проявленіямъ, а такимъ проявленіемъ была великая эпопея «Войны и мира». Къ «Аннъ Карениной» Толстой приступиль еще полный отой въры, но уже съ начинавшимися сомнениями и вопросами. Когда онъ кончалъ «Анцу Каренину», онъ вступалъ уже въ періодъ третьяго и последиято своего кризиса-самаго тяжелаго, самаго з ительнаго: онъ усомнился въ своей религи жизни, онь потрыда ввру въ жизнь. Можно потерять ввру въ благого личнато вога-и остаться жить; такъ бываеть сплошь и рядомъ. Можно потерять въру въ благодетельный прогрессь-и остаться жить; такъ случается нередко. Но потерять веру въ жизнь и остаться жить-невозможно; тогда можно лишь не жить, а влачить существованіе, убивая время, нока не хватить силы духа убить себя. Воть эту тяжелую потерю въры въ религію жизни, въ самую жизнь, суждено было испытать во второй половинъ семидесятыхъ годовъ Л. Толстому. Первые симптомы этого кризиса были видны на Левинъ-уже въ 1875-1876 г.; съ этого

времени и начались новыя мучительныя и великія исканія Льва Толстого, о которыхъ онъ разсказаль въ замѣчательнѣйшей своей «Исповѣди» (1879—1882 гг.).

«Пять л'ётъ тому назадъ,—писалъ Толстой (повидимому, въ 1882 году), --со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумънія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнъ жить, что мнъ дълать, и я терялся и впадаль въ уныніе. Но это проходило, и я продолжалъ жить попрежнему. Потомъ эти минуты недоумънія стали повторяться чаще и чаще и все въ той же формъ. Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачёмъ? Ну, а потомъ»? Жизни для жизни онъ принять уже не могъ; онъ пресытился счастьемъ, любовью, славою, встмъ окружающимъ міромь; религія жизни перестала его удовлетворять, начались новыя, мучительныя, великія исканія новой віры, новой истины. И темъ мучительнее были эти исканія, что старая истина-«жизнь»—была заложена несознаваемо глубоко въ личности Толстого. Часто приходъ весны или лъта смывалъ все прежнее пресыщение жизнью, показываль, что есть жизнь и при неразръщенномъ вопросъ «зачъмъ»?. «Теперь лъто, —писалъ, напримъръ, Толстой въ одномъ изъ инсемъ 1880 года, какъ разъ въ разгаръ своей работы надъ «Исповъдью» и надъ «Критикой догматическаго богословія», въ разгаръ своихъ мучительныхъ исканій смысла жизни, -- теперь літо, и прелестное літо, и я, какъ обыкновенно, ошалъваю отъ жизни и забываю свою работу. Нынъшній годь долго я бородся, но красота міра побъдида меня. И я радуюсь жизни и больше почти ничего не дълаю».

Такъ всегда бывало съ Толстымъ. Чувство говорило ему: «радуйся жизпи», а разумъ требовалъ объясненія «смысла»: для какой конечной цёли дана эта жизнь? А конечныя цёли, такъ же какъ и первопричины, недоступны человёческому познанію—Толстой зналъ это очень хорошо; онъ зналъ, что ему «все хочется понять, чего нельзя понять»,—такъ самъ онъ говорилъ въ письмё къ своей свояченицё еще въ началё 1865 года. И все-таки Толстой

не переставаль требовать оть своего «разума» раскрытія этой конечной пъли, объясненія конечнаго послъдняго «смысла жизни». Отвъта не было и не могло быть—и Толстой впадаль въ отчаяніе, проклиналь ту «истину», которая вырисовывалась передъ его глазами: «даже узнать истину я не могъ желать, потому что я догадывался, въ чемъ она состояла. Истина была та, что жизнь есть безсмыслица»... Остановиться на этомъ ръшеніи Толстой не могь, потому что онъ исходиль изъ предпосылки, что жизнь должна им ъть объективный смысль. «Если-бъ я просто поняль, что жизнь не имфеть смысла, я спокойно бы могъ знать это, могъ бы знать, что это--мой удвиъ. Но я не могъ успокоиться на этомъ. Если бы я быль какъ человекъ, живущій въ лъсу, изъ котораго онъ знаеть, что нъть выхода, я бы могъ жить; но я быль какъ человъкь, заблудившійся въ льсу, на котораго нашель ужась оттого, что онь заблудился, и онь мечется, желая выбраться на дорогу, зная, что всякій шагь еще больше путаеть его—и не можеть не метаться. Воть что было ужасно»... Почему же Толстой быль увърень, что онь заблудился въ лъсу? Почему не остановился онъ на мысли, что онъ ж и в е т ъ въ лъсу, изъ котораго куда ни иди-все лъсъ и нътъ никакой, внъ лъса находящейся, конечной цъли пути? Представьте себъ исихологію какого-нибудь античнаго челов'тка, который увьренъ, что гдъ-то есть «конецъ свъта», и что если туда дойти, то очутишься въ эдемской долинъ: могъ ли бы онъ согласиться съ темъ, что никакого конда света нетъ, и что сколько ни идивсе равно вернешься по замкнутому кругу въ то мъсто, откуда вышель? Психологіи Толстого тоже была ненавистна эта идея «замкнутаго круга». Жить въ лъсу и только въ лъсу онъ не хотъль, а потому предпочиталь върить, что онъ заблудился въ этомъ лъсу человъческой жизни. А разъ заблудился или созналъ, что выхода нъть, а онъ д о л ж е н ъ быть--то какъ же не впасть въ отчанніе, не притти къ мысли о какомъ то жестокомъ Богъ, который эло смъется надъ обманутымъ человъкомъ? «Жизнь моя-думаль тогда Толстой-есть какая-то, къмъ-то сыгранная

надо мною, глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавалъ «кого-то», который меня сотвориль, эта форма представленія, что кто то надо мной подшутиль зло и глупо, произведя меня на свъть, была самая естественная мнъ форма представленія. Невольно мнв представлялось, что тамъ гдв-то есть кто-то, который теперь потъщается, глядя на меня, какъ я цълые 30-40 лътъ жилъ, жилъ, учась, развиваясь, возрастая тъломъ и духомъ, и какъ я теперь, совсъмъ окръпнувъ умомъ, дойдя до той вершины жизни, съ которой открывается вся она, -- какъ я дуракъ дуракомъ стою на этой вершинъ, ясно понимая, что ничего въ жизни нътъ, не было, и не будетъ. А ему смъшно...--Но есть-ли или ньть этоть кто-нибудь, который смьется надо мной, мнь оть этого не легче. Я не могъ придать никакого разумнаго смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, какъ я могъ не понимать этого въ самомъ началъ. Все это такъ давно извъстно всъмъ. Не нынче-завтра придутъ болъзни, смерть (и приходили уже) на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кром'в смрада и червей. Дела мои, какія бы они ни были, вст забудутся-раньше, позднте, да и меня не будеть. Такъ изъ чего-же хлопотать? Какъ можеть человъкь не видъть этого и жить -- вотъ что удивительно! Можно жить только, покуда пьянъ жизнью; а какъ протрезвишься, то нельзя не видъть, что все это обманъ и глупый обманъ! Воть именно, что ничего даже нътъ смъшного и остроумнаго, а просто-жестоко и глупо»... ³⁹).

Какъ я могь не понимать этого въ самомъ началѣ!—восклицаетъ Толстой; но онъ не правъ. Давно, уже «съ самаго начала» задавался онъ все этими-же мучительными вопросами и исканіями; достаточно вспомнить одного только князя Андрея, который прошелъ черезъ всѣ эти исканія и мученія мысли и чувства. Вопросы были тѣ-же—правда; но отвѣчалъ на нихъ Толстой тогда совсѣмъ по иному, а значить и иначе понималь ихъ. Тогда отвѣтомъ его была—религія жизни; теперь Толстой съ презрѣніемъ говоритъ, что онъ тогда былъ «пьянъ жизнью». Что-же, можетъ быть ет этомъ вѣчномъ духовномъ опьяненіи и лежить отвѣтъ самой жизни на вопросы о ел «смыслѣ». Разумъ безсиленъ отвѣтить, а чувство не даетъ отвѣта логическими аргументами. Но Толстому мало теперь полноты жизни, принятія ел въ страданіяхъ и радостяхъ, вѣчнаго восторга, глубины и широты ел, ему мало субъективнаго смысла жизни; религія жизни—имманентна, Толстой теперь требуетъ трансцендентнаго отвѣта: «есть-ли въ моей жизни—спрашиваетъ онъ вт «Исповѣди»—такой смыслъ, который не уничтожился бы неизбѣжной, предстоящей мнѣ смертью»? А этотъ вопрось—вопрось о конечной цѣли—выходитъ за предѣлы религіи жизни; онъ можетъ быть разрѣшенъ только на почвѣ новой религіи, новой вѣры.

Толстой и пришель къ этой новой въръ или, точнъе, вернулся къ старой. Это было возвращение къ идеаламъ Оленина; это было въ то-же время возвращение и къ понятио «человъчества», народа, къ его коллективной правдъ, къ его пониманію смысла жизни. Со мной случился перевороть, который давно готовился во мет и задатки котораго всегда были во мет. Со меой случилось то, что жизнь нашего круга-богатыхъ, ученыхъ-не только опротивъла мнъ, но потеряла всякій смыслъ. Всъ наши дъйствія, разсужденія, науки, искусства-все это предстало мей въ новомъ значеніи. Я поняль, что все это-одно баловство, что искать смысла въ этомъ нельзя. Жизнь-же всего трудящагося народа, всего человъчества, творящаго жизнъ, представилась мнъ въ ея настоящемъ значеніи. Я понялъ, что это-сама жизнь, и что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть истина, и я приняль его»... Въ чемъ же былъ этотъ смыслъ, въ чемъ была эта истина? Они были въ томъ, что «мучительное чувство исканія Бога» завершилось у Толстого возвращеніемь къ въръ въ выстую волю, поставившую цълью человъка совершенствованіе. «Я вернулся во всемъ къ самому прежнему, детскому и юношескому. Я вернулся къ въръ во ту волю, которая произвела меня и чего-то хочетъ отъ меня; я вернулся къ тому, что главная и единственная цёль моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т. - е. жить согласне

съ этой волей... Я вернулся къ въръ въ Бога, въ нравственное совершенствованіе и въ преданіе, передававшее смыслъ жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято безсознательно, теперь же я зналъ, что безъ этого я не могу жить». И отъ недавней формулы Пьера: «Жизнь есть все. Жизнь есть Богь», Л. Толстой перешелъ къ другой, о которой онъ говорить въ «Исповъди» и другихъ сочиненіяхъ: «Богь есть все. Богь есть жизнь» 40).

Такъ произошель третій религіозный кризись въ душь Толстого, продолжавшійся всю вторую половину семидесятыхъ годовъ. Переворотъ этотъ «давно готовился и задатки (его) всегда были во мнъ»-слышали мы только что оть Толстого, и мы уже знаемъ, что онъ глубоко правъ въ этомъ своемъ утвержденін. И характерно: за все это время душевнаго кризиса Толстой не могь создать ни одного художественнаго произведенія; закончивъ въ 1877 году «Анну Каренину», онъ только въ 1884—1886 гг. могь создать «Смерть Ивана Ильича» (попытки вернуться къ роману «Декабристы» и продолжить этимъ «Войну и миръ» остались въ 1878 году неудачными). Это, повторяю, очень характерно. Толстой говориль, мы это видъли, что «Война и миръ» была написана имъ въ періодъ отсугствія у него всякой религіи, въ эпоху отсугствія у него «всякаго исканія общаго смысла жизни». Уже а ргіогі мы могли заявить, что это невозможно, что Толстой въ то время «самъ не знадъ, какого онъ духа», что въ основъ великой эпопен должна была лежать хотя бы подсознательная религія. И мы видъли, что такой была въ то время для Толстого великая религія жизни. Точно также а ргіогі можно заявить, что по той же причинъ невозможно было для Толстого какое бы то ни было художественное творчество въ его «междурелигіозную» эпоху жизни. Онъ не принадлежаль къ чисту писателей, которые въ художественныхъ образахъ могуть выражать свое безысходность, невъріе въ жизнь, невъріе въ Бога: если бы онъ остановился на этомъ невъріи, онъ бы убилъ себя, а не сталь бы браться за перо и бумагу. Но когда пришла въра, вернулось и

художественное творчество: въ 1884 году Толстой написалъ «Смерть Ивана Ильича», въ 1885 г.—народныя легенды и сказки, въ 1886 г.—«Власть тьмы», въ 1889 г.—«Плоды просвъщенія», «Крейцерову сонату», «Дьяволъ» и т. д.

Не надо думать, что за все это время Л. Толстой такъ и стояль твердо на новой въръ, отливъ ее въ неизмънныя формы. Основы въры съ этихъ поръ остались, правда, неизмъняемыми, но развитіе новаго міровоззр'внія продолжалось еще долго, во всякомъ случав, до начала девяностыхъ годовъ. Подобно тому какъ Вълинскій говориль о своей «в'ячной движимости», какь о своемь основномъ нравственномъ качествъ, такъ и Толстой говорилъ о своемъ развитіи, что «ужъ, видно, моя судьба всегда находиться въ какой-нибудь фазѣ»... Еще въ одномъ изъ писемъ 1857 года Толстой требоваль этой въчной движимости, постоянныхъ исканій: «чтобъ жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и въчно бороться, и лишаться. А спокойствіе—душевная подлость»... И къ жизни Бълинскаго, и къ жизни Толстого слова эти можно поставить эпиграфомъ; великіе в'вчные пскатели, они не успоканвались на найденномъ. Если Толстой къ девяностымъ годамъ и остановился на опредъленной формъ мысли, то все же мучительныя исканія никогда не переставали мінять содержаніе этихъ внъшнихъ формъ; нечего и говорить о глубокой, внутренней, тайной работь его духа, -- весь міръ увидьль ея взрывь въ памятные дни октября 1910 года... Не упуская изъ вида этого, все же можно утверждать, что съ конца семидесятыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ Толстой не измёнялъ более основамъ своей новонайденной въры, до копца жизни развивая ихъ, кое-что мвняя, кое-что дополняя; къ началу девяностыхъ годовъ все главное было уже построено; новаго духовнаго переворота, исканій новой религіи больше не было.

Итакъ, третій кризисъ въ жизни и міровоззрѣніи Толстого кончился тѣмъ, что великій писатель вернулся къ вѣрѣ въ Бога, въ Бога-Добро, въ нравственное совершенствованіе. Онъ попытал-

ся было вернуться всецёло къ прежней неразсуждающей дётской въръ, народной въръ, но это оказалось для него невозможнымъ. Онъ увидълъ, что историческое христіанство загромождено въковыми наслоеніями лжи, обмана и насилія, борьбы интересовъ, побъды сильныхъ, подлаживанія къ «духу міра сего»; и онъ задался цёлью-вышелущить, очистить, выявить «подлинное» ученіе Христа, въ которомъ онъ видель величайщаго глашатая высшей воли. Для этого пришлось взять на себя громадный трудъ критической работы, раскопки христіанства изъ-подъ историческихъ наслоеній: эта отрицательная работа характеристики наслоеній была произведена Толстымъ въ больщой 1880-го года, «Критикъ догматическаго богословія». Параграфъ за параграфомъ разсматриваетъ Толстой больщое двухтомное «Православно-догматическое богословіе» митрополита Макарія, анализируя его съ точки зрвнія разума. Конечно, для мистиковъ такая критика не могла и не можетъ быть убълительной, но Толстой быль всегда враждебень мистицизму. Оть богословія онъ ждаль отвъта на вопрось о смысль человъческой жизни, а богословіе говорило ему о троичности, о чинахъ ангельскихъ, о сотвореніи міра, о паденіи человъка, объ искупленіи, о воплощеній, о семи тайнствахъ, о кончинъ міра, о страшномъ судъ, о въчной мукъ гръшниковъ, блаженствъ праведниковъ... «Смыслъ моей жизни, по этому ученію, -- говорить Толстой, -есть совершеннъйшая безсмыслица, безъ сравненія худшая той, которая мнъ представлялась при свътъ одного моего разума. Тогда я видълъ, что я живу, и, пока живу, пользуюсь жизнью, а умру-не буду чувствовать. Тогда меня пугала безсмысленность моей личной жизни, неразръщимость вопроса: зачъмъ мои стремленія, моя жизнь, когда все кончится? Но теперь еще хуже: все это не кончится, а вся эта безсмыслица, прихоть чьято, будеть въчно продолжаться»... А между тъмъ, подлинное христіанство есть, по мивнію Толстого, ученіе, открывающее смыслъ жизни; стержень христіанскаго ученія есть самосовершенствованіе, и только одно опо можеть придать жизни смыслъ.

«Все ученіе Іисуса только въ томъ, что простыми словами повторяеть народъ: спасти свою душу, но только свою, потому что она все... Все, что не твоя душа, все это не твое дѣло. Ищите царства небеснаго и правды его въ своей душѣ, и все будеть хорошо»... Въ этомъ—законъ и пророки, въ этомъ—правда, соединяющая людей; а все то, что «богословіе» считаеть важнымъ, нужнымъ и вѣрнымъ—все это можетъ только разъединить человѣка отъ человѣка. «Ни исповѣданіе, ни богопочитаніе не есть дѣло вѣры. Дѣло вѣры есть только жизнь по вѣрѣ. И жизнь одна выше всего и не можетъ быть подчинена ничему, кромѣ Бога, познаваемаго только жизнью»... ⁴¹) Вотъ выводы и итоги «Критики догматическаго богословія», въ которой Толстымъ такъ безподобно вскрыты многія историческія наслоенія. Отъ былой религіи жизни, вѣчной подсознательной религіи Толстого, осталось это превознесеніе жизни выше всего, ибо «Богъ есть жизнь».

Одновременно съ этой шла и другая критическая работа Л. Толстого-«Соединеніе и переводъ Евангелій», громадный трудъ, получившій большую извъстность и распространеніе въ сокращенномъ видъ «Краткаго изложенія Евангелія» (1881 г.). Впоследствін Толстой сожалель, что, переводя съ греческаго Евангелія, онъ вдался въ иныхъ мъстахъ въ спорныя филологическія тонкости: не въ нихъ было дібло, а въ общемъ духів, общемъ тонъ сдъланной работы. Стиль перевода подчеркнуто-простой, нбо, по мнѣнію Толстого, такъ только и должно было переводить произведенія, вышедшія изъ народныхъ низовъ и предназначенныя для всего парода. Чудесное исключается Толстымъ изъ Евангелія, которое для него кончается смертью Христа. «Идея искуиленія» была ему чужда, ибо онъ былъ твердо убъжденъ, что «каждый разумный человъкъ можеть спасать себя самъ и что собственно ему для этого никого не нужно...» 42). Спасеніе для Толстого состояло въ томъ, чтобы найти, понять и принять смыслъ жизни---и именно въ этомъ видълъ онъ всю сущность христіанства. «Я-писаль онъ-смотрю на христіанство не какъ на исключительное божественное откровение, не какъ на историческое явленіе, - я смотрю на христіанство, какъ на ученіе, дающее смыслъ жизни. Я быль приведенъ къ христіанству не богословскими, не историческими изследованіями, а тёмъ, что 50-ти лътъ отроду, спросивъ себя и всъхъ мудрецовъ моей среды о томъ, что такое я и въ чемъ смыслъ моей жизни, я получилъ отвъть: ты-случайное сцёпленіе частиць; смысла въ жизни нёть... Я пришель въ отчаяние и хотвлъ убить себя... (но) въ Евангели нолучиль полные отвъты на вопросы о смыслъ моей жизни и жизни другихъ людей-отвъты, вполнъ сходящеся со всъми мнъ извъстными отвътами другихъ народовъ и на мой взглядъ превосходящіе всѣ» 43). Мы еще остановимся на содержаніи этихъ отвѣтовъ Толстого; нока же достаточно отмътить, что этическая сторона ученія Христа и вытекающія отсюда нормы личнаго поведенія-воть что единственно ценно Толстому въ христіанстве. И уже всецёло подъ вліяніемъ заново усвоенныхъ имъ основныхъ нстинъ христіанства Толстой пишеть въ 1881 году, нослъ 1-го марта, свое знаменитое письмо Александру III, призывая въ немъ къ прощенію враговъ, моля не начинать новаго царствованія ужасами казни...

Все это зданіе, созданіе новаго христіанства, увѣнчивается большой работой 1883-го года «Въ чемъ моя вѣра?», составляющей какъ бы непосредственное продолженіе и окончаніе «Исповѣди». Толстой съ геніальной простотой разсказываеть о томъ, въ какомъ видѣ представилось ему христіанское ученіе, когда онъ отвлекъ его отъ обычнаго ложнаго пониманія. Въ нагорной проповѣди Толстой увидѣлъ пять простыхъ и ясныхъ заповѣдей, нормъ личнаго поведенія, главная изъ которыхъ—заповѣдь непротивленія злу насиліемъ. На этомъ камнѣ построилъ Толстой все ученіе свое, все свое пониманіе христіанства; задатки такихъ взглядовъ уже давно были въ Толстомъ,—мы видѣли ихъ хотя бы въ томъ самомъ Левинѣ, который такъ пророчески предвосхитилъ собою все послѣдующее развитіе самого Толстого. Но если уже говорить о пророчествѣ, то нельзя не привести здѣсь изумительнаго мѣста изъ дневника Толстого отъ 5-го марта

1855 года. Сидя подъ Севастополемъ, въ лагеръ на Бельбекъ, проигрывая въ карты тысячи рублей, молодой офицеръ въ то же время записываль въ своемъ дневникъ: «разговоръ о божествъ и въръ навелъ меня на великую, громадную мысль, осуществленію которой я чувствую себя способнымъ посвятить жизнь. Мысль эта-основаніе новой религіи, соотв'єтствующей развитію человъчества, религіи Христа, но очищенной оть въры и таинственности, религіи практической, не объщающей будущее блаженство. но дающей блаженство на земль. Привести эту мысль въ исполненіе, я понимаю, могуть только поколівнія, сознательно работающія къ этой цёли.. Действовать сознательно къ соединенію людей религіей-воть основаніе мысли, которая, надёюсь, увлечеть меня». Это изумительное пророчество о самомъ себъ могло считаться осуществленнымъ черезъ тридцать лътъ, послъ появленія работы «Въ чемъ моя въра?» закончившей въ сущности циклъ главныхъ работъ Толстого по созданію новой религіи. Ибо поистинъ онъ создаль новую религію, думая воскресить старую; религія эта долго еще будеть переходить изъ покольнія въ покольніе...

Здёсь необходимо подчеркнуть, что въ этой новой религіи мы имъемъ своеобразный синтезъ всъхъ трехъ былыхъ религій Толстого—и религіи Бога, и религіи Человъчества (прогресса), и религіи Человъка (жизни), основных элементовъ всъхъ этихъ религій. Начать съ того, что Толстой и въ стать в «Въ чемъ моя въра?» и во многихъ другихъ произведеніяхъ постоянно настаиваетъ на имманентности новой своей рельгіи-черта столь характерная для былой его религіи жизни. «Жизнь мы знаемъ только здёсь въ этомъ міре, и потому, если есть смыслъ въ нашей жизни, то и онъ здёсь, въ этомъ мірё», -- говоритъ Толстой въ «Кругъ Чтенія» (на «5-е марта»), этомъ позднъйшемъ своемъ произведеніи начала девятисотыхъ годовъ. Онъ ръзко отрицаетъ ученіе церковнаго христіанства о томъ, что настоящая, земная что «наилучшее средство зло, атижодп жизнь есть жизнь состоить въ томъ, чтобы презирать ее и жить върою, т.-е. воображеніемъ въ жизнь будущую, блаженную,

ную»; не менте ртзко высмъпваеть онъ и ту втру, что «по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другимъ» человъчество будеть счастливо въ будущемъ. Это будущее блаженство на небъ или на землъ не удовлетворяетъ Толстого; его религія имманентная, ціль которой въ настоящемъ каждаго человъка, ибо «если есть жизнь разумная, то она должна быть... такая, цэль которой не въ жизни для себя въ будущемъ». «Жизнь только въ настоящемъ... Въ «Отче нашъ» въдь это самое сказано», писалъ, напримъръ, Толсгой позднъе, въ письмъ отъ 30 апръля 1890 года; но и десятью годами ранбе онъ то-же самое говориль въ своемъ «Краткомъ изложени Евангелія»: «истинная жизнь есть только жизнь въ настоящемъ»—этой мысли посвящена вся VIII глава изложенія. И въ то-же время «жизнь въ настоящемъ» не есть только «жизнь для себя»: въ этомъ Толстой видить весь смыслъ евангельской притчи о десяти дъвахъ, о страшномъ судъ и о концъ міра. «Смерть, смерть, смерть каждую секунду ждеть вась. Жизнь ваша совершается въ виду смерти. Если вы трудитесь лично для себя въ будущемъ, то вы сами знаете, что въ будущемъ для васъ одно-смерть. И эта смерть разрушаетъ все то, для чего вы трудились. Стало быть, жизнь для себя не можеть имъть никакого смысла. Если есть жизнь разумная, то она должна быть какая нибудь другая, т. е. такая, цёль которой не въ жизни для себя въ будущемъ» 44). Жизнь въ настоящемъэто прежнее утверждение Толстого перешло и въ новую его въру: оно прошло черезъ всв кризисы религіозной мысли Толстого. Еще въ дневникъ отъ 6 августа 1852 года Толстой записываль: **«**будущность занимаеть нась болье дыйствительности. Эта наклонность хороша, ежели мы думаемъ о будущности того міра. Жить въ настоящемъ-т. е. поступать наилучшимъ образомъ въ настоящемъ-вотъ мудрость...» И черезъ двадцать лътъ Толстой говорить въ юмористическомъ посланіи Фету (ноябрь 1872 года):

> Пускай въ грядущемъ много бъдъ,— Своя довлъетъ дневи злоба: Такъ лучше жить, любезный Фетъ...

Путка—шуткой, но все же мысль эта о жизни въ настоящемъ проходить черезъ всю жизнь Толстого. Уже въ работѣ самыхъ послѣднихъ лѣтъ жизни, въ «Кругѣ Чтенія» (на «10 августа») Толстой говоритъ о томъ, что «настоящее есть то состояніе, въ которомъ одномъ проявляется наша божественная сущность. Будемъ же благоговѣть передъ настоящимъ—въ немъ Богъ»... И эту же мысль Толстой разработалъ въ формѣ сказки «Три вопроса» (1904 г.): въ художественныхъ образахъ въ ней проводится все та-же мысль о жизни въ настоящемъ. Оправдывать и объяснять жизнь будущимъ, трансцендентнымъ—будь то блаженство души на небѣ, или блаженство человѣчества на земиѣ—было безконечно чуждо земной и имманентной религіи Толстого.

Жизнь есть благо, а не зло-и именно жизнь эта, земная, временная: воть догмать имманентной религіи Толстого. Грубая ошибка-представлять религію Толстого какой-то аскетической, ненавидящей жизнь и злорадно проповъдующей, что человъку только «три аршина земли» нужно; это сказано Толстымъ совсъмъ въ иномъ смыслѣ, въ смыслѣ-«помни о смерти». Три аршина земли-это постоянное «memento mori» Толстого для тъхъ людей, которые глухи и слены къ запросамъ духа; для зрячихъ-же-«жизнь должна и можеть быть неперестающей радостью», ибо «жизнь здёсь-не юдоль плача, не мёсто испытанія, а нёчто, лучше чего мы ничего не можемъ себъ представить; радость этой жизни безконечна, только бы мы пользовались ею, исполняя положенные намъ для этого законы» 45). Когда Толстому говорять о самоубійствь, о правь на него, то онь, признавая право, отрицаетъ разумность его, ибо, лишая себя жизни, я «лишаю себя возможности извъдать и пріобръсти для своего я все то, что оно могло пріобръсти въ этомъ міръ» 46). Итакърелигія Толстого имманентна; жизнь и полнота жизни на землъ --- догматы его ученія. Весь вопрось въ томъ--- о какой «жизни настоящемъ» говорить Толстой, что вкладываеть вообще теперь въ это понятіе «жизни». Конечно, эта «жизнь»

не та жизнь личная, какую Л. Толстой обожествляль вь былой своей религіи жизни; теперь это—«жизнь общая, связанная съ жизнью настоящей, прощедшей и будущей всего человъчества, жизнь сына человъческаго». Здъсь подъ «Сыномъ Человъческимъ» Толстой именно и разумъетъ все Человъчество; онъ требуетъ, чтобы люди, «понявъ призрачность личной жизни, отреклись отъ нея и переносили ее въ жизнь всего человъчества, въ жизнь сына человъческаго». «Всякое осмысливаніе личной жизни, продолжаеть Толстой, --если она не основывается на отреченіи оть себя для служенія людямь, человічеству-сыну человіческому, --есть призракъ, разлетающійся при первомъ прикосновеніи разума...» Явно понимая подъ «сыномъ человъческимъ» все человъчество, Толстой требуеть отъ личности единства съ «сыномъ человъческимъ»: въ этомъ, по его мнънію, христіанская заповъдь. «Живи для блага, только не върь тъмъ ловушкамъсоблазнамъ, которые, занимая тебя подобіемъ блага, лишаютъ этого блага и уловляють во зло. Благо твое есть твое единство со всеми людьми, гло есть нарушение единства сына человеческаго. Не лишай себя самъ того блага, которое дано тебъ ч⁴⁷). Не для чего подчеркивать то общее, что имжется въ этомъ пунктъ между этой новой върой Толстого и былой его религіей прогресса, религіей Человъчества: слишкомъ это ясно само по себъ. Что касается религіи Бога, то мы уже слышали отъ Толстого, какъ онъ къ ней вернулся и что сохраниль изъ прежияго въ новой въръ. Вотъ почему въ новой религіи Толстого мы видимъ синтезъ трехъ былыхъ его въръ, соединение на общей почвъ Человъка, Человъчества, Бога, при чемъ почва эта-совершенствованіе.

Мы не старались искусственно заключить міропониманіе Толстого въ эту тройственную схему—въ ту самую, которою опредъляется также жизнь и творчество Бълинскаго; самъ Толстой постоянно говорить объ этихъ трехъ единственно возможныхъ пониманіяхъ міра и жизни. «Пониманій такихъ три и только три,—говорить Толстой,—не потому что мы произвольно соеди-

нили различныя жизнепониманія въ эти три, а потому что поступки всёхъ людей имёють всегда въ основе одно изъ этихъ трехъ жизнепониманій, потому что иначе, какъ только этими тремя способами, мы не можемъ понимать жизнь»... Такъ говорить Толстой въ книгъ «Царство Божіе внутри васъ» (1891-1893 г.); но еще въ ранней юности Толстой думалъ почти то-же самое о Богъ, Человъчествъ и Человъкъ, «Всякая мысль, которая приходила мев въ голову, —пишеть Толстой въ «Юности», — подходила какъ разъ подъ какое-нибудь изъ подраздѣленій моихъ правилъ и обязанностей: или къ правиламъ въ отношеніи къ ближнимъ, или къ себъ, или къ Богу»... И это постоянное тройное подраздъление-въчная мысль, въчное чувство Толстого, глубоко истинное въ своей основъ, ибо только по одному изъ этихъ трехъ путей можетъ идти всякая религія. «Всякая религія—говорить Толстой въ стать в «Религія и правственность» (1894 г.) — есть отвъть на вопрось: каковъ смыслъ моей жизни? И религіозный отв'єть включаеть въ себя уже изв'єстное правственное требованіе, которое можеть становиться иногда послів объясненія смысла жизни, иногда прежде его. На вопросъ о смыслѣ жизни можно отвъчать такъ: смыслъ жизни въ благъ личности. и потому пользуйся всёми благами, которыя доступны теб'я; или: смыслъ жизни въ благъ извъстной группы людей, и потому служи этой группъ всъми своими силами; или: смыслъ жизни въ нсполненіи воли пославщаго тебя, и потому всёми силами стремись познать эту волю и исполнить ее. На этоть же вопросъ можно отв'ячать и такъ: смыслъ жизни въ твоемъ личномъ наслажденій, такъ какъ въ этомъ назначеніе человъка; или: смыслъ жизни твоей въ служеніи той совокупности, которой ты считаешь себя членомъ, такъ какъ въ этомъ твое назначеніе; или: смыслъ жизни твоей въ служеніи Богу, такъ какъ въ этомъ твое назначеніе»... Здісь, какъ и всюду, все та-же тройная формула, которая обнимаеть собою всё религіи, всё міровозэрёнія, всё жизнепониманія ⁴⁸).

Міропониманіе личное, общественное и божеское: такъ фор-

мулируеть Толстой старую мысль Фейербаха о Человъкъ, Человъчествъ и Богъ. Толстой убъжденъ, что именно въ этомъ порядкъ идеть развитие и смена міровоззреній и у отдельнаго человека. и у всего человъчества. «Вся жизнь историческая человъчества говорить Толстой—есть не что иное, какъ постепенный переходъ отъ жизнепониманія личнаго, животнаго къ жизнепониманію общественному, и отъ жизнепониманія общественнаго къ жизнепониманію божескому...» Онъ забываеть, что самь онъ шель обратнымъ путемъ-отъ Бога къ Человъчеству и затъмъ къ Человъку, что его возвращение къ Богу было только синтезомъ этихъ трехъ отношеній къ міру. Забывая это, Толстой ръзко осуждаеть личное и общественное міропониманіе: первое изъ нихъ свойственно, по его словамъ, только человъку-животному, дикарю, и только юношескому возрасту современныхъ людей; второе свойственно языческой общественности, а также въ настоящее время возрасту возмужалости... И только одно божеское жизнепониманіе, свойственное мудрой старости, является достойнымъ современнаго человъчества 49). Насколько безспорно установленіе трехъ основныхъ типовъ религіознаго пониманія, настолько же сомнительны всё эти аналогіи и возрастныя рамки, настолько же нев'врно грубо-эгоистическое толкование «личнаго» отношенія къ міру. И самъ Толстой, отрѣшаясь оть предвзятости и нетерпимости, прекрасно сознаваль даже въ поздней старости, что нътъ истины въ узкой формуль, что только синтезируя в с е человъкъ можетъ приблизиться къ познанію истины. Уже въ девятисотыхъ годахъ Толстой записываеть, «чтобы не забыть» (на обложий «Живого трупа»), следующую замечательную мысль: «одинъ смыслъ жизни-совершенствованіе. Жить для Бога одного-невозможно. То-же-для себя, то-же-для людей. Можно только для Бога, для людей и для с е б я»... Но если это такъ, то теперь ясно и то, почему Толстой испыталь taedium vitae въ концъ семидесятыхъ годовъ: онъ исповъдываль тогда религію жизни, но въ концъ концовъ сталь

понимать ее только какъ провозглашение правъ на жизнь личнаго человъка; онъ почти забылъ въ это время о человъчествъ, о Богъ. А нуженъ синтезъ всъхъ трехъ, индивидуальнаго съ соціальнымъ и универсальнымъ. Къ этому синтезу и привела Толстого его новая религія.

Мы не будемъ входить здёсь въ болёе подробное изученіе этой религіи, основанной на принципъ совершенствованія (внутренне) и непротивленія злу насиліемъ (внішне); достаточно знать основы этой вёры, которая вновь открыла Толстому возможность художественнаго творчества. Ограничимся только однимъ замъчаніемъ: новая религія Толстого, точно такъ же какъ и прежняя, не могда дать отвъта (Толстой пытался спорить съ этимъ) на мучившій его въ концъ семидесятыхъ годовъ вопросъ: «зачъмъ?» или «ну, а потомъ?». И это потому, что на эти вопросы о конечномъ слъдствіи и конечной цъли вообще нътъ и не можетъ быть никакихъ отвътовъ, кромъ воображаемыхъ, мнимыхъ. Толстой сталь теперь давать самому себъ и другимъ увъренные отвъты на эти въчные вопросы, не замъчая, что къ каждому его отвъту снова приложимы все тъ же и тъ же вопросы. Для чего мы живемъ?--спрашиваль себя Толстой, и отвъчаль: «чтобы устанавливать Царство Божіе на земліз», «чтобы содійствовать замѣнѣ себялюбиваго, ненавистническаго, насильническаго, неразумнаго устройства жизни устройствомъ жизни любовнымъ, братскимъ, свободнымъ и разумнымъ», «чтобы поступать съ другими такъ, какъ хочешь, чтобы поступали съ тобой», и т. п., и т. п. Но-з а ч в м ъ? Зачвмъ «устанавливать», зачвмъ «содвиствовать», зачёмъ «поступать», зачёмъ вообще жить? «Смыслъ чедовъческой жизни въ томъ, чтобы добывать ее», —чудесно говорить Толстой: но все-таки—зачьмъ «добывать»? «Смыслъ жизни человъческой не въ личномъ счастьъ, а въ служении всъмъ»: — зачъмъ? «Цълью жизни міра представляется разумному человъку безконечное просвътлъние и единение существъ міра, къ которому идеть жизнь»:--здёсь даже и конечная цёль намёчена, а вопросъ «зачъмъ»? все таки остается безъ отвъта 50). И Толстой, видя такую

же какъ и прежде невозможность отвъта, доходить до того, что начинаетъ отрицать самую законность вопроса! Но не это-ли самое могли сказать ему и религія жизни, и религія прогресса, отвергнутыя имъ какъ разъ за безсиліе отв'єтить до конца на этотъ же вопросъ! Толстой отвъчаетъ на это притчей: хозяинъ взяль сь перекрестка голаго, голоднаго нищаго и заставиль двигать вверхъ и внизъ какую-то палку. Нищій этоть не знаеть, что палка движеть насось, что насось накачиваеть воду, что вода идеть по грядкамъ огорода, что плодами этого огорода накормять его-же, голоднаго нищаго, что онъ будеть всть и пить и «войдеть въ радость господина своего», --если только не будеть спрашивать «зачвиь?». Мы-же, неразумные люди, «встьъдимъ все хозяйское, а дълать не дълаемъ того, чего отъ насъ хочеть хозяинь, и вмёсто того, чтобы дёлать, сёли въ кружокъ и разсуждаемъ: зачемъ это двигать налкой? ведь это глупо. Вотъ и додумались. Додумались до того, что хозяинъ глупъ, или его нъть, а мы умны, только чувствуемъ, что никуда не годимся и надо намъ какъ-нибудь самимъ оть себя избавиться»... Здёсь Тодстой явно несправедливъ самъ къ себъ. Развъ онъ, въ эпоху сомнівній, спрашиваль только о томь, зачімь двигать палкой? Онъ спрашивалъ дальше-зачемъ поливать грядки? зачемъ ъсть? зачемъ жить? Что-же можетъ ответить на это хозяинъ?-Ничего. Толстой, какъ и всъ религіозные искатели въ этой области, могь только перенести этоть отвъть въ неизвъстное, приписать въдъніе его хозяину. Хозяинъ знаеть-этой върой осмысливается жизнь голаго нищаго, человъка; но развъ это отвътъ на вопросъ «зачъмъ?». Мы уже говорили, что свою былую въру въ прогрессь Толстой теперь иронически характеризоваль следующими словами: «все развивается, и я развиваюсь, а зачёмъ это я развиваюсь вмъстъ со всъми, это видно будеть»; и мы уже отмътили, что отъ этой въры ничъмъ по существу не отличается и обновленная въра Толстого въ самосовершенствование: все совершенствуется, и я совершенствуюсь, а зачёмъ это я совершенствуюсь вмъсть со всъми-это видно будеть, видно, во всякомъ

случав, Хозянну. Развъ это отвътъ? И чъмъ второй отвътъ лучше перваго? Пусть во всемъ правъ Толстой, пусть совершенствованіе дойдеть до своего пред'вла, пусть всів самые далекіе идеалы Толстого воплотятся въ жизнь, всё его самыя далекія мечтанія исполнятся, пусть завтра-же наступить царство Божіе на землі, царство взаимной любви, общей свободы, человъческого братства: ну, а потомъ? «Что будеть, когда это все будеть исполнено?—спрашиваеть самь себя Толстой, и отвъчаеть: предположение это ложно, потому что совершенство, указываемое христіанамъ, безконечно и никогда не можеть быть достигнуто..., но стремленіе къ полному, безконечному совершенству постоянно будеть увеличивать благо людей, и благо это поэтому можеть быть увеличиваемо до безконечности» 51). Конечно, въ этомъ Толстой глубоко правъ, нбо въ въчномъ исканіи и въчномъ достиженіи вся жизнь человіка; но відь тогда на вопрось о конечной цъли, на вопросъ «зачъмъ?» томъ болбе нъть нужнаго Толстому отвъта. Но пусть совершится чудо, пусть всъ люди придуть къ христіанству «не какъ мистическому ученію, а какъ новому жизнепониманію» (такъ гласить подзаголовокъ «Царства Божія внутри васъ»), пусть завтра-же соединятся они въ одно общее братство: будеть-ли все это отвътомъ на вопросъ жизни? Отвътъ Толстого на это поистинъ неожиданъ, хотя и глубоко правдивъ: этотъ достигнутый идеалъ представляется ему скукой, смертью, безжизненностью! «Представьте себъ,-говорить Толстой въ одномъ письмъ 1900 года къ своему послъдователю и единомышленнику, - представьте себъ, что всъ люди, понимающіе ученіе истины, какъ мы, собрадись бы вубств и поседились бы на островъ. Неужели это была бы жизнь?» 52). Итакъ, съ какого конца ни подходи-все равно нътъ конечнаго отвъта. Отвъта нътъ и не можетъ быть--это иногда признаетъ и Толстой; върнъе сказать «отвътъ можетъ быть только одинъ: есть высшая воля, цъли которой недоступны человъку» 53). Что-же касается человъка, то «человъжь не можеть знать, зачьмъ живеть, но не можеть не знать, какъ ему надо жить». Иначе говоря, на вопросъ «какъ?»

есть отвъть, но попрежнему нъть абсолютнаго отвъта на вопросъ «зачъмъ?». «Разумъ ръщаеть только основной вопросъ-какъ. И для того, чтобы знать какъ, онъ решаеть въ пределахъ конечности вопросы: отчего и зачёмъ. Что-же какъ? Какъ жить. Какъ-же жить? Блаженно. Это нужно всему живущему и мнъ. И это ръшение исключаеть вопросы отчего и зачъмъ» 54). И на прежній мучительный вопрось о смыслів жизни Толстой отвъчаеть теперь по-прежнему имманентнымъ отвътомъ: «смыслъ цъль лежить внъ предъловъ человъческого познанія. Не то-же ли самое буквально могь отвътить себъ Толстой и въ семидесятыхъ годахъ, когда у него безпомощно опустились руки передъ вопросомъ зачьмъ? Живи, добывай жизнь, а конечная цьль твоей жизни тебъ не можеть быть извъстна. Но тогда Толстой не удовлетворялся такимъ отвътомъ; теперь же, увъровавъ въ Вога, удовлетворился и сталъ даже бояться задавать себъ прежніе вопросы. «Умъ, —писаль онь въ одномь изъ писемь конца 1889 года, — какъ бинокль, развертывать надо до извъстной степени, а дальше вертъть хуже; такъ и въ вопросахъ о жизни, н зачёмъ жизнь? Помилуй Богъ!..»

Выводъ одинъ: всякій конечный отвъть на вопросъ «зачъмъ» есть отвъть мнимый, переносящій ръшеніе въ недоступную нашему познанію область трансцендентнаго: зачъмъ мы живемъ—это знаеть Хозяинъ, а мы знаемъ волю этого Хозяина... Отвъть переносится въ высшую инстанцію, а человъкъ дълаетъ видъ, что удовлетворенъ такимъ мнимымъ отвътомъ. А отвъта все-таки нътъ. Жизнь вообще есть, говоря языкомъ математики, ръшеніе одного уравненія съ милліонами неизвъстныхъ, а значитъ, одного общеобязательнаго ръшенія ея нътъ. Но вотъ приходять люди «божескаго жизнепониманія» и упраздняютъ всъ неизвъстныя, замъняя ихъ однимъ великимъ неизвъстнымъ, имя которому—Богъ. Они думаютъ, что задача ръшена—и ошибаются, ибо они не сдълали и шагу впередъ. Они только условно назвали сумму безконечнаго числа всъхъ прежнихъ неизвъст-

ныхъ однимъ символомъ, и изъ одного уравненія съ милліонами неизвъстныхъ сдълали милліоны уравненій съ однимъ неизвъстнымъ. И тогда, ставъ въ безсиліи передъ этой новой задачей, они начинають говорить: не будемъ ръшать этой задачи жизни, не будемъ искать отвъта на вопросъ «зачъмъ», предоставимъ это тому самому неизвъстному Богу, котораго мы ввели въ это уравненіе жизни... А уравненія то никакого и нъть; есть простое тожнество: Жизнь есть Богъ. Богъ есть жизнь. И попрежнему ръшение задачи жизни остается возможнымъ только на имманентной почвъ, попрежнему остается возможнымъ только субъективное ръшеніе. Живи, «добывай жизнь», живи «во всв стороны», расширяя свое бытіе оть индивидуальнаго къ соціальному и универсальному, соединяя въ себъ всю ихъ глубину, широту, полноту. Вотъ имманентный смыслъ тво е й жизни, и въ этомъ-же субъективный смыслъ жизни вообще; смысль же объективный, если онь и есть, тебъ недоступень, хотя бы ты и старался объяснить его всякими трансцендентными понятіями и символами. Признаніемъ этой недоступности кончились и всёпопытки Толстого, когда онъ пришель къ убежденію. что на вопросъ «зачъмъ» не надо отвъта. «Не надо»—это значить здёсь: «нёть отвёта», нёть того отвёта, который Толстой думаль найти на трансцендентной почвъ. И новая религія его осталась по-прежнему имманентной, синтезирующей въ индивидуальное съ соціальнымъ и универсальнымъ. «Одинъ смыслъ жизни-совершенствованіе. Жить для Бога одногоневозможно. То-же-для себя, то-же-для людей. Можно жить только для Бога, для людей и для себя»...

Но какъ бы то ни было, новая въра дала Толстому успокоеніе и легла въ основу новой полосы его художественнаго творчества восьмидесятыхъ годовъ. Чтобы творчество это стало ясно во всъхъ подробностяхъ, необходимо обратить вниманіе еще на одну крупную работу Толстого той эпохи: «Такъ что же намъ дълать?» (1886 г.). Послъ ръшенія религіозной и этической проблемы Толстой неизбъжно былъ приведенъ самою жизнью къ

постановкъ проблемы соціальной. Ръшеніе и ея, конечно, должно было основываться на религіозной почвъ. «Разръшеніе не одного вопроса общественнаго устройства, -говорить Толстой въ поздивишей статьв («Неизбъжный перевороть», 1909 г.), —а всвхъ, всвхъ вопросовъ, волнующихъ человъчество, въ одномъ: въ перенесеніи вопроса... въ область религіозную». Такъ перенесъ Толстой въ религіозную область и соціальный вопрось, и политико-экономическія проблемы. Подъ вліяніемъ Сютаева и Бондарева 55) и подъ вліяніемъ собственныхъ религіозныхъ мыслей онъ пришелъ къ формулъ «земля--- Божія», и отъ этого положенія, въ связи съ нравственнымъ закономъ обязательности труда, ношло все глубокое «народничество» Толстого, а также и все его «опрощеніе», все его отношеніе къ современной культурь. Народничество Толстого было не наноснымъ и заимствованнымъ, а его исконнымъ, глубокимъ, давнишнимъ возэрѣніемъ; мы видъли, что еще въ статьяхъ шестидесятыхъ годовъ, посвященныхъ выяснению религи прогресса, Толстой предвосхитиль построенія народничества послідующаго десятильтія («Прогрессь и опредъление образования», 1862 г.; см. выше гл. II). И теперь, въ девяностыхъ и девятисотыхъ годахъ, Толстой продолжаль отстаивать многія изъ старо-народническихъ построеній, уже безповоротно разрушенных жизнью 56). Упорная мысль о земль, о правдь соціальной, глубоко внь дрилась въ сознаніе Толстого; даже во снъ не покидали его эти «земныя» мысли. Еще въ шестидесятыхъ годахъ Толстой записалъ въ своемъ дневникъ видънный имъ сонъ (13 августа 1865 года) — сонъ о справедливомъ устроенім поземельной собственности, и о томъ, что устроеніе это есть миссія и всемірно-историческая задача Россіи. И уже много поздиве, «въ ночь съ 6-го на 7-ое ноября» (1909 г.), день въ день за годъ до смерти, Толстой «видълъ такой значительный сонъ, что нъсколько разъ въ продолжение дня спрашиваль себя: что бишь, это случилось нынче такое особенно важное? И вспоминаль, что это особенно важное было то, что я видъль илп, върнъе, слышалъ во снъ»... Слышалъ же онъ во снъ длинную рѣчь кого-то о несправедливости земельной собственности и объ ея уничтоженіи ⁵⁷). Уничтоженіе ея онъ считаль возможнымы и легкимы, если осуществить извѣстный проекты Генри Джорджа о единомы земельномы налогы. Проповыди этихы теорій былы посвящены цылый ряды поздныйшихы работы Толстого ⁵⁸).

Такъ опредълились соціальные взгляды Толстого-и это было, по существу, только продолжениемъ и развитиемъ его мыслей шестидесятыхъ годовъ, его «Люцерна», его знаменитыхъ статей о прогресст и образованіи. И теперь Толстой по-прежнему безпощадно отрицаетъ прогрессъ-эволюцію, противопоставляя ему истинный прогрессь-благо народное; новое лишь въ томъ, что возможность этого истиннаго прогресса Толстой видить теперь только на религіозной почвъ. Со всей наукой, объясняющей (а тъмъ самымъ и «оправдывающей») современную культуру, Толстой неустанно ведеть ръзкую борьбу; «культура», искусство, наука для него не самодовлеющія ценности, и онъ радъ былъ бы понижению технического прогресса, лишь бы выросъ при этомъ прогрессъ истинный—религіозный ⁵⁹). Нечего и говорить, что ко всвиь государственнымь формамь, какъ таковымь, онъ еще съ начала своего религіознаго кризиса относился глубоко отрицательно («въра отрицаетъ власть и правительство», писалъ онъ еще въ дневникъ 30 октября 1879 г.); теперь онъ пришелъ къ своеобразному «анархизму» путемъ и соціально-экономическихъ разсужденій, отридая, конечно, всякій насильственный нуть для достиженія этой свободы. Перевороть должень быль быть глубокій, безкровный, религіозный; и Толстой быль уб'вжденъ, что все это «будетъ очень скоро». Пока же каждый за себя долженъ отказаться отъ всяческихъ формъ эксплоатацін ближняго и жить, совершенствуясь, трудами рукъ своихъ: воть отвъть на вопросъ «такъ что же намъ дълать?».

Всв эти выводы обоснованы Толстымъ въ этой работв 1886-го года на цъломъ рядь личныхъ переживаній по поводу московской переписи, бывшей четырьмя годами ранте. Вст страницы, посвященныя передачт этихъ переживаній и воспоминаній (вся

первая половина статьи), не уступають по силѣ величайшимъ произведеніямъ Толстого: даже «Мертвый домъ» Достоевскаго блѣднѣетъ передъ этимъ такимъ простымъ, такимъ, казалось бы, протокольнымъ описаніемъ Ляпинскаго дома, Ржановой крѣпости, переписи въ Москвѣ; въ этой простотѣ таится сила величайшей художественности. И здѣсь—переходъ къ тѣмъ многочисленнымъ художественнымъ произведеніямъ, которыя Толстой сталъ писать «въ новой манерѣ» именно около этого самаго времени. Вернулась вѣра въ жизнь—вернулась и способность художественнаго творчества.

Въ Толстомъ умеръ художникъ тогда-же, когда умерла и его въра въ жизнь. Онъ еще писалъ вторую половину «Анны Карениной», когда почувствовалъ, что «моя Анна надовла мнв, какъ горькая ръдька», когда почувствовалъ, что «необходимая серьезность для занятія такимъ пустымъ дёломъ оставляетъ меня»,—такъ писалъ онъ въ мартв и апрълв 1876 года гр. А. А. Толстой, прибавляя: «льтомъ буду заниматься тъми философскими и религіозными работами, которыя у меня начаты не для печатанія, но для себя»... Эти занятія затянулись на цълыхъ десять льтъ, въ теченіе которыхъ Толстой мучительно искалъ новую въру и, найдя, выяснялъ ее себъ и другимъ. Воскреснувъ къ новой въръ, Толстой воскресь и какъ художникъ; лишь только въра окръпла въ его душъ, какъ вернулась къ нему въ прежней силъ способность художественнаго творчества.

Первой попыткой такого творчества въ новыхъ формахъ было произведеніе 1881 года «Чѣмъ люди живы». Затѣмъ, послѣ перерыва въ четыре года, Толстой создалъ цѣлый рядъ такихъ же апологовъ, легендъ, сказаній, изъ которыхъ самые замѣчательные—«Два старика» (1885 г.), «Сказка объ Иванѣ-дуракѣ» (1885 г.) «Много-ли человѣку земли нужно» (1886 г.), «Крестникъ» (1886 г.), и др. Долгое время критика пренебрежительно относилась къ этимъ подлинно золотымъ слиткамъ толстовскаго творчества, столь обманчиво простымъ и легкимъ; изъ видныхъ современниковъ Толстого только одинъ Лѣсковъ оцѣнилъ и понялъ всю силу и все мастерство этихъ небольшихъ произведеній. Такъ писать могъ только одинъ Толстой, и лучше всего это доказалъ тотъ же Лѣсковъ, попробовавъ пойти на этомъ пути вслѣдъ

за Толстымъ и создавъ рядъ слишкомъ ярко раскрашенныхъ произведеній въ «религіозно-народномъ» духів. Только подлинно великій художникъ могь найти соотвътствующія формы для этихъ такихъ простыхъ и такихъ сложныхъ художественныхъ картинъ къ евангельскимъ текстамъ. Форма произведеній этого цикла творчества Толстого явилась темь, что четверть века спустя назвали-бы «стилизаціей». Сь одной стороны житія святыхъ, апокрифы, церковно-народныя легенды поразили художника Толстого своей величавой простотой, своей торжественной наивностью, своей безыскусственной глубиной; съ другой стороны вспомниль Толстой былыя сочиненія ясно-полянскихъ ребятишекъ, учениковъ его школы лътъ за двадцать до этого, --сочиненія, которыми онъ тогда такъ восхищался тоже за ихъ простоту, глубину, наивность, яркость 60). Безсознательнымъ чутьемъ художника поняль Толстой, что, только сочетая и перерабатывая оба эти стиля въ одно цълое, можно достичь художественнаго выраженія тъхъ простыхъ евангельскихъ мыслей и образовъ, которые были теперь ему дороги. Онъ достигь своей цёли, но это не было понято въ свое время ни читателями, ни критикой; вся художественная прелесть этихъ «религіозно-народныхъ» произведеній Толстого не оцінена еще и до сихъ поръ.

Толстой, впрочемъ, и не заботился теперь о такомъ «пустякъ», какъ художественная форма разсказа: она приходила сама собой, помимо старанія художника, который хотѣлъ теперь проповѣдывать, проводить моральныя максимы, религіозныя идеи. Художникъ всегда дѣлаетъ это, самъ того не сознавая; творя художественные образы онъ безсознательно исповѣдуетъ свою вѣру жизни, а исповѣдуя—онъ проповѣдуетъ ее. Не такъ-ли было и съ Толстымъ въ эпоху «Войны и мира»? Но тогда Толстой не хотѣлъ проповѣдывать, а теперь именно въ этомъ была его цѣль. И, повторяю, подлинно великимъ художникомъ надо быть, чтобы проповѣдывать художественными образами, чтобы не впадать въ тенденціозность и надуманное сочинительство.

«Чъмъ люди живы»-первое произведение Толстого изъ этого

пикла. Живы они, отвъчаеть Толстой, евангельской любовью другь нь другу, ибо люди живы Богомь, а «Богь есть любовь». Эту евангельскую истину Толстой облекаеть въ образы, даеть имъ плоть и кровь, рисуя сапожника Семена, жену его Матрену, наказаннаго Богомъ ангела; рисунокъ простой, четкій, наивный тоть самый, который Толстой испробоваль десятью годами ранве въ своей «Азбукъ», въ разсказахъ «Кавказскій плънникъ» и «Вогъ правду видить, да не скоро скажеть» (см. предыдущее примъчаніе), причемъ теперь къ дётской простот прибавилась житійная торжественность, и не могла не прибавиться: Толстому надо было теперь изъ современной крестьянской жизни создавать художественныя притчи на религіозно-философскія темы. Такъ напримъръ, въ «Чъмъ люди живы» такихъ темъ двъ: основнаячто люди живы любовью, и что Богь есть любовь, и вторая, казалось бы побочная, а на самомъ дёлё главенствующая надъ основной-что во всёхъ явленіяхъ жизни есть разумный смысль и что смысль этоть извъстень Вогу. Мы знаемь, что въдь это и было самымъ острымъ вопросомъ-отвътомъ этой эпохи жизни Толстого, когда онъ задалъ вопросъ «зачъмъ?» и ръшалъ его, относя отвъть въ безконечность-въ понятіе Бога. Такъ и въ этомъ сказаніи: ангель наказань за то, что задаль себ'в вопрось «зачвмъ» и твмъ самымъ усумнился въ разумности того, что ему двлать надлежало. Свалилось дерево, раздавило мужика; баба его въ ту-же недълю родила двойню-и послалъ Господь ангела своего вынуть душу изъ родильницы. Прилетвлъ ангелъ—пожаивль женщину, вернулся къ Господу со словами: «не могь я изъ родильницы души вынуть. Отда деревомъ убило, мать родила двойню и молить не брать изъ нея души, говорить: дай мив дътей вспонть, вскормить, на ноги поставить; нельзя дътямъ безъ отца, безъ матери прожить.—Не вынулъ я изъ родильницы душу»... Въдь это и есть толстовскій вопрось Богу-«зачъмъ?»; но мудрость эта не небесная-земная, и за нее ангель наказань тъмъ, что посланъ Господомъ на землю, узнать «чъмъ люди живы». Такъ соединяются въ одну эти двъ давнишнія толстовскія темы:

о любви, какъ «первомъ двигателъ» жизни человъка, и о смыслъ явленій жизни, извъстномъ только Богу. Тъ-же темы, и особенно первая изъ нихъ, составляють сущность сказанія «Два старика» (1885 г.), чудесно написаннаго въ этихъ простыхъ новыхъ тонахь; и цълый рядъ еще произведеній этого цикла разрабатываетъ все эти-же основныя темы, иногда дополняясь темами соціально-религіозными. Такова главнымъ образомъ «Сказка объ Иванъдуракъ и его двухъ братьяхъ: Семенъ-воинъ и Тарасъ-брюханъ, и нъмой сестръ Маланьъ, и о старомъ дьяволъ и трехъ чертенятахъ» (1885 г.). Нравственный законъ обязательности физическаго труда, и труда преимущественно земледъльческаго; презрительное отношеніе ко всякой «культурів» и «прогрессу», если они держатся на денежномъ или физическомъ засиліи; принципъ непротивленія злу насиліемъ; отрицаніе всякой спеціализаціи въ области умственнаго труда, особенно, если это ведетъ къ порабощенію низшихъ классовъ высшими, --все это и многое другое проведено въ этой характерно-толстовской сказкъ; въ нейнаиболъе яркое проявление толстовскаго народничества во всъхъ его слабыхъ и сильныхъ сторонахъ 61).

Такой же характерно-толстовской вещью является и сказаніе «Крестникъ», изъ цикла «Народныхъ легендъ» (1886 г.). Въ немъ опять соединяются въ одно двъ толстовскія темы—и одна изъ нихъ все та-же, прежняя, основная, что смыслъ въ явленіяхъ жизни есть и извъстенъ онъ Богу. Крестникъ Божій, человъкъ, видитъ въ міръ зло, безсмыслицу, ужасъ, а Богъ видитъ сокровенный смыслъ этихъ явленій. Крестникъ хочетъ человъческимъ умомъ понять и исправить это зло, помочь правому, отомстить виноватому, но онъ не долженъ—и въ этомъ вторая толстовская тема—онъ не долженъ противиться этому «злому», ибо только Богу это по силамъ, ибо «Мнъ отмщеніе и Азъ воздамъ»... Этотъ эпиграфъ «Анны Карениной» Толстой повторяетъ теперь въ «Крестникъ», сопровождая его вторымъ, объяснительнымъ: «не противься злому». Разбойникъ влъзъ въ избу, хотълъ убить мать крестникъ осужденъ случайно убилъ разбойника на мъстъ. И крестникъ осужденъ

за это Богомъ. Ибо онъ воспротивился злу, не понимая его высшей, божественной цъли, и тъмъ самымъ увеличилъ зло на свътъ; а главное-онъ осм'влился своимъ челов вческимъ разумомъ мърить справедливость. спасать одного, наказывать другого, между тымь какь только одной высшей сверхъ-человыческой мудрости это доступно: «Мнъ отмщение и Азъ воздамъ». Вотъ смыслъ, который имъетъ теперь этотъ эпиграфъ изъ «Анны Карениной»: человъку не дано право осужденія и наказанія другого человъка. И здъсь открывается тоть побочный смысль, который таился десятью годами ранве въ эпиграфв «Анны Карениной»: вамъ не дано право наказанія-говориль Толстой людямъ, выводя передъ ними гръшную Анну, -- гръшную не тъмъ, что она нолюбила, а тъмъ, что она причинила человъку непоправимыя страданія. Она гръщиа, --но пусть-же бросить въ нее первый камнемъ тотъ, кто самъ въ этомъ не грѣшенъ: воть второй смыслъ эниграфа «Анны Карениной», открываемый только теперь, послъ «Крестника», послъ полнаго выявленія религіозной мысли Толстого. Въ своей послъдней, посмертной книгъ «Путь жизни» Толстой въ главъ «Наказаніе» въ послъдній разъ повторяеть эту свою старую мысль: «большая часть бъдствій людей происходить отъ того, что грешные люди признали за собой право наказанія. Мнъ отмщеніе и Азъ воздамъ» 62).

Намъ не для чего разбирать одно за другимъ всѣ многочисленныя произведенія этого цикла и этой эпохи творчества Толстого: всѣ они въ сущности написаны на одну и ту же тему, и тема эта въ томъ, что Богу извѣстенъ смыслъ явленій жизни, что Богь все дѣлаетъ ко благу, ибо Онъ есть любовь, что человѣкъ долженъ жить по закону Бога-любви. Казалось-бы—не тоже самое ли говориль у Толстого въ свое время великій язычникъ дядя Ерошка, и если не говорилъ, то больше—дѣлалъ это? «Я человѣкъ веселый, я всѣхъ люблю, я Ерошка, такъ-то отецъ мой»,—говорилъ онъ, и тоже думалъ, что «глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ», и что Богъ далъ человѣку и животному «законы», а значитъ и знаетъ причины и цѣли поступковъ человѣка. Все

это такъ; но теперь и самъ Толстой узналъ, какъ ему казалось, эти законы, узналъ волю Бога-и сталъ примънять познанное ко встмъ частнымъ вопросамъ жизни. Нельзя курить, нельзя нить вино, нельзя ъсть живое-всь эти практические выводы изъ новой религіи стали теперь усердно пропов'єдываться Толстымъ. «Какъ чертенокъ краюшку выкупалъ» и «Первый винокуръ» (1886 г.)-первыя произведенія Толстого въ этомъ родъ. И прежняя философія дяди Ерошки: «все Богь сдёлаль на радость человъку; ни въ чемъ гръха нътъ», —замънилась теперь совстиъ иной проповъдью. Въ «Первомъ винокуръ» чорть учить мужика гнать водку изъ хлъба; «а не гръхъ это будеть?»—спрашиваеть мужикъ, и чортъ отвъчаетъ: «вона! Какой же тутъ гръхъ? Все на радость человъку дано»... Мудрость дяди Ерошки, безконечно углубленная потомъ въ подсознательной религіи Толстого, въ его религіи жизни, принисана теперь элому началу, является враждебной истинному Богу.... Такъ проклялъ Толстой то, чему прежде поклонялся, не сознавая, что въ новую его религію входять элементы всёхъ трехъ былыхъ его жизнепониманій-даже того, которое онъ теперь предалъ безпощадно проклятью...

Мудрость жизни проклята—такъ казалось Толстому; но какъ же смерть? Она является теперь подлиннымъ орудіемъ живого Бога, раскрывающимъ глаза человѣку на истину жизни. Въ 1884—1886 гг. Толстой написалъ безсмертную «Смерть Ивана Ильича», въ которой онъ возвращается къ старой, постоянной, вѣчной темѣ своей—смерти, какъ бы подвергаетъ ею испытанію свою новую вѣру. И прежде внимательно всматривался онъ въ смерть своихъ героевъ, то побѣжденныхъ смертью, то преодолѣзающихъ ее—достаточно вспомнить Николая Левина или князя Андрея; но теперь онъ описываетъ смерть далеко не «героя», а обыденнѣйшаго человѣка толпы. Можетъ ли оселъ быть трагическимъ?—ядовито спрашивалъ Ницше; Толстой, не зная этого вопроса, отвѣтилъ на него (по вѣрному замѣчанію одного изъ позднѣйшихъ критиковъ) описаніемъ смерти Ивана Ильича. Толстой не могъ не задаться самъ этимъ вопросомъ, хотя и въ ппой формѣ

Путемъ мучительныхъ исканій нашель онъ къ этому времени путь новой въры, новой религіи; и религія эта была вселенская. осуществимая только «сыномъ человъческимъ»-всъмъ человъчествомъ. Но воть уже скоро двадцать въковъ, какъ появидась въ мірѣ эта религія въ формѣ христіанства, а человѣчество теперь дальше чъмъ когда бы то ни было оть идеаловъ, и не то что оть идеаловь-оть первых начатковь, оть азовь этой религіи. Не безнадежное ли въ такомъ случав двло-проповвдь этой религіи «сынамъ человъческимъ»? Могуть ли они-не лучшіе изъ нихъ, а средніе, всв они въ массв-отзываться на такую проповъдь? Могуть ли самые средніе, обыденные люди воспринять «истину»? Въдь это вопросъ «быть или не быть» для всей религіи, религіп вселенской и всечелов вческой. И если можно показать воочію (а сдівлать это можеть только художественное творчество), что даже такой «сынъ человъческій», какъ Иванъ Ильичь, воплощеніе обыденности, необходимо приводится въ концъ концовъ къ «истинъ», то, стало быть, нельзя и не надо отчаиваться въ человъкъ. Если жизнь не можетъ открыть глазъ человъку, то ихъ открываеть смерть. Пришло къ Ивану Ильичу непоправимое страданіе-долгая смертельная бользнь, и всь мы воочію увидъли, что «осель» можеть быть «тратическимь»; а всякая трагедія есть рость души человъка. И мало того: этоть Иванъ Ильичь, кто бы опъ ни былъ, -- нашъ братъ, котораго надо жалъть и понимать. Жалбеть и понимаеть его, умирающаго, одинь только буфетный мужикъ Герасимъ; и жалость эта, и страданія размягчаютъ душу Ивана Ильича. Онъ страстно хочетъ жить, но уже начинаеть понимать, что вси его прошлая веселая, пріятная и приличная жизнь-не жизнь, что онъ не жилъ и не понималъ, что значить «жить». «Все то, чемь ты жиль и живешь, есть ложь, обманъ, скрывающій оть тебя жизнь и смерть». А когда онъ поняль это, то для него уже не было смерти: «вмъсто смерти быль свѣтъ».

Такъ выявилась новая религія Толстого въ замѣчательномъ новомъ его произведеніи. Безсмысленность личной жизни, неиз-

бъжность познанія истины, страданія, какъ искупленіе былой жизни и какъ путь къ этой истинъ-все это составляеть «сукровицу» «Смерти Ивана Ильича». О психологической разработкъ этой темы говорить не приходится: художественная мощь Толстого проявилась здёсь въ этомъ отношеніи въ высшей своей степени. Обычная, пріятная и приличная жизнь Ивана Ильича изображена съ не менъе потрясающей простотой, чъмъ его такая же обычная бользнь и смерть; это та самая «простота», которая является высшей ступенью искусства, последней мечтой всякаго художника — и «новой манерой» Толстого. Умираніе Ивана Ильича, его внутренняя душевная работа, его дътскія воспоминанія--этоть запахь кожанаго полосками мячика, этоть особый вкусь чернослива и «обиліе слюны, когда дёло доходило до косточки»--- всв эти крупныя и мелкія подробности одинаково были величайшими проявленіями художественнаго мастерства Толстого.

Закончивъ (22 марта 1886 года) «Смерть Ивана Ильича», Толстой въ томъ же году написалъ «Власть тьмы», первую въ русской литератур'в д'виствительно «народную драму». Основная, глубокая тема все та же: къ «истинъ» можеть и должень притти всякій. Вся безнадежная обыденность Ивана Ильича не помъщала ему хотя при смерти увидъть свъть истины; точно также никакой «грѣхъ» человъческій не можеть стать стьной между человькомь и истиной. Никита «завязъ и погрязъ въ грехе» разврата, убійства; завязъ-такъ какъ гръхъ засасываеть, что болото: «коготокъ увязь-всей птичкъ пропасть», гласить подзаголовокъ драмы. Такъ пропадаетъ Никита, подчиняясь руководству темной, черной силы гръха, воплощениемъ котораго является его мать Матрена; его отець, невзрачный, богобоязненный, полуюродивый Акимъ не въ силахъ остановить этого наростанія гръха. Власть тьмы царить надъ душами человъческими. Но сила добра такъ же велика, какъ и власть зла; даже более-зло царить, но добро не можеть не побъдить зла, и это потому, что зло въ себъ самомъ тантъ раздагающую силу-пресыщеніе, скуку. «Тушите свъть... Охъ,

скучно мив, какъ скучно!»--этими словами плачущаго Никиты кончается среднее дъйствіе драмы, когда «власть тьмы» царить наль нимь еще въ полной силъ. И зритель или читатель съ этого момента уже знаеть, что каковы бы ни были еще проявленія зла и тьмы, но свъть сознанія побъдить; пусть правда и добро косноязычны и слабы, но въ душъ Никиты Акимъ побъдить Матрену. А когда это случится, надо лишь искупить гръхъ страданіемъ (постоянная тема Толстого), а для этого надо лишь не бояться людей. «Кайся Богу, не бойся людей... Себя не пожаявль. Онъ тебя пожалветь». И добро, свмена котораго ввчно лежать въ преступникъ, начинаеть расти такъ же, какъ раньше росло эло; «власть тьмы» замънится «властью свъта», какъ съ еще большимъ правомъ можно было бы назвать драму Толстого. Замътимъ кстати, что къ этой же самой темъ Толстой вернулся уже въ концъ жизни, написавъ замъчательно выдержанный, стройный и цъльный разсказъ «Фальшивый купонъ» (1903—04 гг.), одинъ изъ лучшихъ въ его посмертномъ наслъдіи. То, что во «Власти тьмы» прослѣжено на душъ одного человъка, то въ «Фальшивомъ купонъ» расширяется на десятки людей, даже и не подозръвающихъ о тъхъ внутреннихъ нитяхъ зла, которыми они связаны. Зло растеть, какъ снъжный комъ; и, когда царить, казалось бы, безпросвътная «власть тьмы», вдругь оказывается, что и добро растеть съ такой же силой, отъ искры къ огоньку, отъ огонька къ огню: снъжный комъ зла начинаеть таять, таять-и скоро вмъсто власти тьмы воцаряется власть свъта. Такова была глубоко-оптимистическая философія Толстого во «Власти тьмы» (и въ «Фальшивомъ купонъ», и въ целомъ ряде другихъ произведеній); философію можно было принять или не принять, но недьзя было отвергнуть правды художественныхъ образовъ и лицъ. Въ этомъ отношении «Власть тьмы» одно изъ самыхъ сильныхъ произведеній всей русской драматической литературы, быть можеть, даже самое сильное. Косноязычный Акимъ, хитрая Матрена-это не категоріи добра и зла, а величайшіе художественные образы, величайщая правда жизни, преломленная черезъ

художественное творчество. Общеизвъстная «сценичность» этой драмы и есть, подъ другимъ угломъ зрънія, ея глубокая «жизненность».

Вскоръ Толстой написаль еще одну пьесу-на этоть разъ комедію, «Плоды просв'єщенія» (1889 г.). Это быль, кстати замізтить, не нервый опыть: еще въ 1863 году Толстой написаль комедію «Зараженное семейство», которая, впрочемь, осталась досел'в неопубликованной. «Плоды просвъщенія» — веселая комедія, тоже единственная въ такомъ родъ во всей русской литературъ, тоже выдающаяся по своей «сценичности». Суровый моралисть, которому только «три аршина земли» нужно (такъ ошибочно представляли себъ Толстого многіе его современники въ восьмидесятыхъ годахъ и такъ ошибочно онъ иногда самъ понималъ себя), не могь бы написать такого брызжущаго остроуміемь, юморомъ и жизнью произведенія; и поистинъ, надо было глубоко «принимать міръ», чтобы, видя всв его черныя стороны, написать такую радостную и свътлую «комедію». Тъ же темы, тъ же лица, тѣ же положенія, что и въ другихъ произведеніяхъ Толстого, но все это подъ освъщениемъ беззлобнаго смъха и любовной насмъшки. Жизнь Звъздинцевыхъ и Петрищевыхъ не менъе безсмысленна, чъмъ жизнь Ивана Ильича; но она даже и смътна въ своей безсмысленности: воть что показываеть Толстой въ своей комедіи, заставляя зрителей безудержно смінться. И еще смъщнъе, когда Звъздинцевъ (тоть же Иванъ Ильичъ-«мягкій, пріятный джентльменъ») хочеть осмыслить свою жизнь безсмысленной в рой. Такой в рой можеть быть что угодно, а потому совершенно невърно видъть въ этой комедіи Толстого только памфлеть противъ спиритизма: спиритизмъ подвернулся подъ руку лишь какъ модное върование и времяпровождение «средне-высшаго круга» общества восьмидесятыхъ годовъ. Это было то время, когда Менделфевь сражался со спиритами и разоблачаль медіумовь, а профессора Бутлеровь и Вагнерь были ихъ горячими защитниками и приверженцами. Въ интересныхъ письмахъ къ последнему изъ нихъ Толстой высказалъ свое отно-

шеніе къ спиритизму, который такъ грубо реализироваль глубочайшую тайну «духа». Но, повторяю, вмъсто спиритизма Толстой могь взять всякое нельное увлечение общества-и суть комедін не измінилась бы; измінились бы только ея формы, такъ какъ со спиритизмомъ связанъ въ комедіи весь планъ Тани. этой типичной субретки былыхъ комедій. Субретка Таня, кстатисказать-единственное уязвимое мъсто комедіи, единственное лицо, реальность котораго мало правдоподобна; но и это единственное «но» скоръе можеть замътить зритель, чъмъ читатель «Плодовъ просвъщенія». Суть не въ этомъ: смъщная безсмысленность жизни людей «средне-высшаго круга»—воть комедія, въ которой Толстой смотрить на свой бывшій кругь только съ веселой и беззлобной усмъшкой далеко уже ушедшаго человъка. А заглавіе комедіи иронически подчеркиваеть ту просвъщенную «культуру», носителемъ которой является это средне-высшее общество, и которая, какъ мы видъли, такъ далека теперь отъ идеаловъ «опростившагося» Толстого.

Въ томъ же 1889 году Толстой написалъ почти на одну и ту же тему два произведенія, одно изъ которыхъ произвело много шума, а другое появилось на свъть только въ числъ его посмертныхъ произведеній. Это были «Крейдерова соната» (съ «Послъсловіемъ», написаннымъ въ 1890 году) и разсказъ «Дьяволь». Тема общая, и даже первый эпиграфь-Мате., V, 28-общій въ этихъ двухъ произведеніяхъ: «Кто смотритъ на женщину съ вождельніемь, уже прелюбодьйствоваль сь нею въ сердць своемь». И возникаетъ вопросъ: какъ быть, какова норма личнаго поведенія человъка передъ заповъдью абсолютной чистоты брака. Одинъ отвътъ даетъ «Крейдерова соната», продолжая евангельскій эпиграфъ: «говорять Ему ученики Его: если такова обязанность человъка къ женъ, то лучше не жениться. Онъ же сказаль имъ: не всв вмъщають слово сіе, но кому дано»... Другой отвъть, дополняющій, даеть разсказь «Дьяволь», продолжая евангельскій эпиграфъ по-другому: «если правый глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его и брось отъ себя»... Какъ видимъ, оба эти произведенія им'єють своей темой «проблему брака», и еще шире—«половую проблему», какъ выражаются въ настоящее время.

Не такъ давно, всего за три года до «Крейцеровой сонаты», Толстой коснулся той же темы въ своей стать в «Такъ что же намъ дълать?» (1886 г.). Онъ думалъ тогда, что спасеніе всего міравъ исполненіи женщиной библейскаго закона рожденія: «спасеніе людей нашего міра отъ золь, которыми онъ страдаеть, только въ вашихъ рукахъ!!»---восклицалъ Толстой, обращаясь къ женщинамъ и женамъ-матерямъ (кажется, единственное мъсто во всъхъ писаніяхъ Толстого, гдв онъ дошель до двухъ восклицательныхъ знаковъ!). Сознающая свое назначение женщина должна рожать какъ можно больше детей, а затемъ воспитать ихъ въ духе истины; такія женщины установять мало-по-малу общественное мнёніе, подготовять новыя поколенія людей и незамётно произведуть этимъ безкровный соціальный и религіозный перевороть. А потому «идеальная женщина будеть та, которая, усвоивъ высшее міросозерцаніе того времени, въ которомъ она живеть отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному въ нее призванію родить, выкормить и воспитаеть наибольшее количество дътей, способныхъ работать для людей, по усвоенному ею міросозерцанію». Такая женщина, «отрожавшись», можеть заняться потомъ и наукой, и искусствомъ; но нерождающая женщина-это драгоцінный пустующій черноземь молодая на который смотръть жалко. Смотръть на нерождающую женщину еще жальче: «земля эта могла бы родить только хлубь, а женщина могла бы родить то, чему не можетъбыть оцвики, выше чего ничего нътъ-человъка» 63).

Прошло всего три года, и появилась «Крейцерова соната», въ «Послъсловіи» къ которой Толстой идеаломъ брака считаетъ не наибольшее число дътей, а полное отсутствіе ихъ—«замъну плотской любви чистыми отношеніями сестры и брата». Идеалъ же человъка вообще—«лучше не жениться». На возраженіе, что тогда родъ человъческій прекратится, Толстой отвъчаетъ: «а зачъмъ ему продолжаться?», явно мътя въ былую свою религію

прогресса, видящую цѣль—въ жизни послѣдующихъ поколѣній. Зачѣмъ жить? «Если нѣтъ цѣли никакой, незачѣмъ жить... А если есть цѣль жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться когда достигнется цѣль». И если цѣль есть «добро», то ея достиженію мѣшаютъ страсти, и главная изъ нихъ—любовь. «Любовь мѣшаетъ смерти»—слышали мы прежде отъ умирающаго князя Андрея; любовь мѣшаетъ жизни—слышимъ мы теперь отъ Толстого. Любовь, «плотская страсть» мѣшаетъ истинной жизни въ духѣ, мѣшаетъ совершенствованію.

Такимъ образомъ Толстой пришелъ къ ряду мыслей всецъло противоположныхъ тому, что онъ съ глубокимъ убъжденіемъ высказываль тремя годами ранбе. Такіе крутые повороты только и были въ натуръ Толстого-это еще Достоевскій отмътиль въ нѣсколькихъ словахъ: «Толстой, —говоритъ онъ, —несмотря на свой огромный художественный таланть, есть одинь изъ тъхъ русскихъ умовъ, которые видятъ ясно лишь то, что стоить прямо передъ ихъ глазами, а потому и прутъ въ эту точку. Повернутьже шею направо или налвво, чтобы разглядеть и то, что стоить въ сторонъ, они, очевидно, не имъють способности: имъ нужно для того повернуться всёмъ тёломъ, всёмъ корпусомъ. Вотъ тогда они, пожалуй, заговорять совершенно противоположное, такъ какъ, во всякомъ случав, они всегда строго искренни»... Это нвсколько грубо, но, во всякомъ случав, очень остроумно и вврно сказано. Такой «повороть всемь корпусомь» Толстой совершиль и теперь, въ вопросъ о бракъ; но что послужило ему толчкомъ, что заставило его говорить въ «Крейперовой сонатъ» вполнъ противоположное тому, что онъ въ теоретическихъ статьяхъ высказываль тремя годами ранве, объ этомъ можно пока только догадываться. Самъ Толстой (въ «Послъсловіи») признаеть, что выводы для него самого были неожиданны: «я никакъ не ожидаль, что ходъ моихъ мыслей приведетъ меня къ тому, къ чему онъ привелъ меня... Но какъ ни противоръчать эти выводы... тому, что я прежде думаль и высказываль даже, я должень быль признать ихъ». Конечно, не потому измънилъ Толстой свои мысли и напи-

саль «Крейцерову сонату», что въ одной его знакомой семьъ супруговъ N. произощло событіе, послужившее основой «Крейцеровой сонаты» (такъ объяснялъ себъ перемъну взглядовъ Толстого Влад. Соловьевъ); болъе глубокое объяснение можетъ дать написанный тогда же и на ту же тему разсказъ «Дьяволь». Прежде, когда Толстой обращался къ женщинамъ съ воззваніемъ какъ можно больше рожать, онъ видълъ передъ глазами только одну цёль-рость молодыхь поколёній, воспитанныхь въ «дух в истины» и призванныхъ къ водворенію его въ міръ. Ему важна была цъль-рожденіе, мимолетнымъ средствомъ къ которому является любовь или даже не любовь, а просто половое соединеніе. Онъ временно какъ бы забыль, что это «мимолетное средство» является само по себъ глубочайшей цёлью, что нъть въ мірь, по слову поэта, рычага более сильнаго, чемъ голодъ и любовь. Толстой теперь какъ бы вспомнилъ, что чаще всего «рожденію» предшествуеть не одно «половое соединеніе», а «страсть»; что страсть эта сильнее всего въ міре и можеть все сломить на пути своемъ. Такъ сломала самая грубая, нелъпая, физическая страсть благороднаго Евгенія Иртенева изъ разсказа «Дьяволь»; онъ безумно боролся съ собой, чтобы преодольть въ себъ эту страсть. чтобы побъдить «дьявола», простую бабенку Степаниду. Но страсть, «дьяволь» сильне его; «вырвать око правое» Иртеневу удается, лишь убивъ самого себя. (Второй варіанть окончанія разсказа, гдъ Евгеній убиваеть не себя, а Степаниду, менъе удаченъ, ибо не подходить къ стоящему въ началф разсказа евангельскому эпиграфу). Но разъ Толстой вспомнилъ всю силу «дьявода», —а вспомнить онъ могь, обратясь и къ своей юности когда въ душъ его «кипъли страсти», -- онъ не могь не увидъть что страсть эта враждебна всему ученію о «духовномъ совершенствованіи»; и тогда онъ неизбъжно пришель къ тому выводу, что надо еще сильнъе Евгенія бороться съ половымъ влеченіемъ, что даже въ бракъ надо стремиться къ замънъ плотской любви отношеніями духовной любви брата и сестры. И для доказательства отъ противнаго онъ нарисоваль намъ жизнь семьи Позднышевыхъ и передалъ намъ исповъдь Позднышева его собственными словами. Толстой понялъ, что, вообще, всякая страсть является или тормозящей, или разрушающей силой для его идеаловъ духовнаго совершенствованія; и вотъ откуда заглавіе всего разсказа, вотъ откуда страхъ Позднышева передъ вліяніемъ музыки на души человъческія. «Страшная вещь музыка! Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? что она дълаеть? и зачъмъ она дълаеть то, что она дълаеть? Говорять, музыка дъйствуеть возвышающимъ душу образомъ. Вздоръ, неправда!.. Она дъйствуеть не возвышающимъ, не принижающимъ душу образомъ, а раздражающимъ душу образомъ». И здъсь тоже тотъ «дъяволъ», съ которымъ надо бороться; «дъяволъ»—не одна любовная страсть, но всякая, выводящая душу изъ равновъсія и не способствующая «духовному совершенствованію»...

Итакъ, передъ нами, казалось-бы, слишкомъ явная апологія «безстрастія», ибо всякая страсть-только тормазъ для души, ибо не можемъ мы отвътить на вопрось-«зачъмъ» намъ эта страсть? Воть музыка, такъ глубоко вліяющая на души людей—зачьмъ она? Да, дъйствительно-зачъмъ? На этотъ вопросъ безсильна отвътить новая религія Толстого. Мы еще увидимъ, какъ пытался отвъчать Толстой на вопросъ объ искусствъ вообще съ точки зрвнія новаго своего жизнепониманія; но уже теперь можно замътить, что жизнь Толстого, всегда полная страсти, глубоко расходилась съ этой его апологіей безстрастія. Лучшій примъръ этого можно видъть именно на отношении Толстого къ музыкъ: недоумъвая, «зачьмъ» музыка дъйствуеть на человъка, осуждая ее за это, Толстой до поздней старости продолжаль любить музыку-такъ же, какъ любиль онъ и жизнь. И любиль онъ въ музыкъ--это очень характерно--свътлыя, мажорныя гармоніи 64), ибо сама жизнь всегда понималась имъ какъ свътлая радостная, пріемлемая и въ великихъ радостяхъ, и въ великихъ страданіяхъ, и въ великой человъческой «страсти». Зачъмъ «страсть»? зачъмъ музыка?— на этотъ вопросъ не могла дать никакого положительнаго отвъта новая религія Толстого, а прежняя религія, религія

жизни, давала ясный и радостный отвёть. Когда однажды Николай Ростовъ быль нравственно убить, чувствоваль себя на последней степени паденія и отчаянія, когда все казалось ему безсмысленнымъ, ненужнымъ, гнуснымъ-и люди, и самъ онъ, и весь міръ, онъ случайно услышалъ пъніе своей сестры Наташи. «Воже мой, я погибшій, я безчестный человъкъ. Пулю въ лобъ-одно, что остается, а не пъть, подумаль онь; уйти? но куда-же? все равно, пускай поють!» Но не прошло и нъсколькихъ минутъ. какъ музыка заполнила для него весь міръ. «Что жъ это такое?--подумаль Николай, услыхавь голось Наташи и широко раскрывая глаза... И вдругь весь міръ для него сосредоточился въ ожиданіи слідующей ноты, слідующей фразы, и все въ мірів сдівлалось раздёленнымъ на три темпа: Oh, mio crudele affetto... Разъ, два, три... разъ, два, три... разъ.... Oh mio crudele affetto... Разъ, два, три... разъ. Эхъ, жизнь наша дурацкая! -- думалъ Николай.—Все это, и несчастье, и деньги, и злоба, и честь—все это вздоръ... а воть оно настоящее!..-О, какъ тронулось чтото лучшее, что было въ душъ Ростова! И это что-то было независимо отъ всего въ мірѣ и выше всего въ мірѣ»... 65). Въ этотъ моменть ни Николай Ростовь, ни самъ Толстой не ръшились бы задать вопроса «зачьмъ?», зачьмъ музыка, зачьмъ вообще «страсть»; слишкомъ ясенъ былъ отвъть религіи жизни, что смысль лежить въ самой полнотв ощущенія, въ самой глубинв переживанія. И этоть же отвъть продолжаль безсознательно давать самою своею жизнью Толстой даже тогда, когда въ теоріи онъ проповъдывалъ единоспасительность безстрастія.

Это надо твердо помнить, говоря объ ученіи, о теоріи, о пропов'єди Толстого,—а именно теперь, съ начала девяностыхъ годовъ, и началась эпоха пропов'єдыванія его завершеннаго ученія. Отношеніе къ Богу, отношеніе къ государству, отношеніе къ людямъ и всему живому, личное, соціальное и универсальное—все было р'єшено теперь Толстымъ съ точки зр'єнія новаго его жизнепониманія; «половая проблема» дала посл'єдніе штрихи этой всеобъемлющей теоріи. Эти посл'єдніе штрихи закончили собою къ на-

чалу девяностыхъ годовъ построеніе того, что можно назвать ученіемъ Толстого; съ этихъ поръ онъ почти ничего не мъняль въ построенномъ имъ великомъ зданіи. Онъ дополняль частности, развивалъ детали, но не прибавилъ болъе ни одного камня въ главу своего ученія. «Крейцеровой сонатой» и «Послъсловіемъ» къ ней закончилась великая созидательная работа Толстого восьмидесятыхъ годовъ; кончилась для него эпоха великихъ исканій, начиналась эпоха популяризаціи добытой истины. Все это такъ--но съ одной громадной оговоркой: популяризація и проповъдь-для людей, апологія безстрастія-въ теоріи, а въ глубинъ души, въ затаенныхъ личныхъ переживаніяхъ-попрежнему великія исканія, кипфнія страсти, водовороть жизни, «безвознательный всѣхъ былыхъ жизнепониманій. синтезъ Ученіе» было построено, начиналась пропов'єдь его; а въ душ'є учителя продолжались затаенныя великія исканія, окончившіяся только 7 ноября 1910 года. Правда, не было больше перелома въры, не было четвертаго кризиса, но продолжалась въчная движимость; по прежнему продолжаль Толстой рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и въчно бороться, и лишаться... «Спокойствіе душевная подлость», -- слышали мы отъ него; и спокойствіе это никогда не было удъломъ Толстого.

«Проповъдь» ученія Толстого встрътила, конечно, всевозможныя препятствія въ условіяхъ русской общественной жизни той эпохи. Ни одно изъ великихъ произведеній Толстого восьмидесятыхъ годовъ не было напечатано въ то время въ Россіи.«Исповъдь» была выръзана цензурой изъ іюньской книги «Русской Мысли» 1882 года; «Въ чемъ моя въра?», отпечатанная въ началъ 1884 года Толстымъ въ количеств 50 экземпляровъ, была конфискована; не могли, разумъется, полностью увидъть свъта ни «Такъ что же намъ дълать?» (1886 г.), ни «О жизни» (1887 г.), ни «Царство Божіе внутри васъ» (1891 г.), ни даже «Крейцерова соната». Но всё эти произведенія расходились по всей Россіи въ громадномъ количествъ рукописныхъ и гектографическихъ списковъ, немедленно появлялись въ русскихъ заграничныхъ изданіяхъ (Эльпидина въ Женевъ, затъмъ Черткова въ Лондонъ), немедленно переводились на всв иностранные языки. Всемірная слава Толстого создалась именно благодаря этимъ его произведеніямъ, а не «Войнъ и миру» или «Аннъ Карениной». Тургеневъ писалъ Толстому въ серединъ 1883 года знаменитое свое предсмертное нисьмо, умоляя Толстого вернуться къ художественной литературной дъятельности: «Другь мой, великій писатель русской земли, внемлите моей просьбъ!» А Толстой въ это самое время мучительно искаль, выясняль самому себь, «въ чемь его въра», не выяснивъ чего, не могъ даже и приступить къ художественному творчеству. Тургеневъ не могъ и предполагать, что эта мучительная внутренняя работа сдёлаеть изъ великаго писателя Толстого поистинъ величайщаго писателя земли русской, и не только русской...

Итакъ, ни конфискаціи, ни цензурные запреты не остановили и не могли остановить широчайшаго распространенія идей Толстого. Сперва, въ самомъ началъ восьмидесятыхъ годовъ, онъ чувствоваль себя безумно и безнадежно одинокимъ. «Вы не можете и представить себъ, --- писалъ онъ въ одномъ изъ писемъ начала 1882 года, --- до какой степени я одинокъ, до какой степени то, что есть настоящій «я», презираемо всіми, окружающими меня». Эти самые близкіе окружающіе его люди писали ему въ томъ же 1882 г. (3-го марта): «тебъ бы полъчиться надо!», или двумя годами поздиве: «чвмъ бы дитя не твшилось, лишь бы не плакало!» 66). Въ восьмидесятыхъ годахъ Толстой началъ писать драму «И свъть во тьмъ свътить» и почти довель до конца это явно автобіографическое произведеніе, впервые напечатанное въ 1911 году въ собраніи посмертныхъ сочиненій Толстого. Достаточно прочесть эту драму, чтобы понять все безнадежное одиночество Толстого, всю безвыходность его личной трагедіи...

Такъ относились маленькіе близкіе люди къ мучительнымъ исканіямъ великаго челов'вка; но то, чего Толстой не могъ найти въ близкихъ своихъ, онъ нашелъ въ дальнихъ. Съ его новой религіей сперва быль знакомь только узкій кружокь случайныхь лиць, но по мере того какъ списки и гектографированныя его произведенія распространялись по всей Россіи, онъ получаль все больше и больше откликовъ отовсюду. Сперва это были отдъльные люди, ишущіе новой религіи и нашедшіе себъ отвъть въ исканіяхъ Толстого; потомъ пошли въ новое ученіе группами, толпами. Образовалось «толстовство». Но если Толстой быль такъ великъ, что почти не быль уже связань въ своихъ исканіяхь съ эпохой, съ тяжелой памяти «восьмидесятыми годами», то этого никакъ нельзя сказать о «толстовцахъ» и о «толстовствъ», отъ котораго недаромъ такъ решительно отграничивалъ себя самъ Толстой (см. его «Противъ толстовства», 1897 г.). Широкое развитіе «толстовства» только и было возможно въ промежуточную эпоху общественнаго мъщанства восьмидесятых годовъ; но здъсь не мъсто для доказательства этой истины, и если я упомянулъ

здѣсь о толстовствѣ, то только оттого, что оно отраженнымъ образомъ повліяло и на дальнѣйшее развитіе Толстого.

Найдя послѣ великихъ и мучительныхъ исканій «истину», естественно желать подѣлиться ею со всѣми, кто только можетъ и хочеть слышать. Еще въ восьмидесятыхъ годахъ Толстой создалъ «Посредникъ», который съ тѣхъ поръ и до смерти Толстогобылъ органомъ распространенія идей Толстого (насколько цензура позволяла) въ самыхъ широкихъ народныхъ массахъ. Но этого было мало; и вся дальнѣйшая теоретическая дѣятельность Толстого была посвящена популяризаціи, доказательству, разъясненію, освѣщенію тѣхъ идей, къ которымъ Толстой пришелъ въ восьмидесятыхъ годахъ. Тогда было время великихъ исканій истины, теперь наступило время ея проповѣди.

Такой проповъдью является уже большая работа 1887 года «О жизни»; въ ней снова обманчивая жизнь личности противопоставляется дъйствительной жизни «сына человъческаго», т. е., человъчества; въ ней религіозныя исканія Толстого обосновываются метафизическимъ ученіемъ о вічной «разумной жизни», мгновеннымъ проявленіемъ которой является жизнь земная, личная. «животная». Какъ метафизическая теорія, эта не лучше и не хуже, конечно, всякой другой подобной. Такой же проповъдью является и «Царство Божіе внутри васъ», громадная работа Толстого 1891 года (законченная въ 1893 году), заключающая въ себъ и обоснование исторической связи учения Толстого съ предшествующими, и приложенія этого ученія ко случаямь общественной и личной жизпи (церковь, в вра, наука, война и т. п. съ точки зрънія «христіанства, не какъ мистическаго ученія, а какъ новаго жизнепониманія»). Поучительно при этомъ слъдить, какъ въ цъляхъ популяризаціи и удобопримънимости ограничиваеть и упрощаеть Толстой тѣ истины, которыя онь раньше нашель для одного себя. Прежде, въ 1883 году, Толстой увидълъ въ нагорной проповъди пять ясныхъ заповъдей, нормъ личнаго поведенія; онъ разсказаль объ этомъ въ книгъ «Въ чемъ моя въра?» Но доступно ли массъ людской осуществление этихъ

заповъдей—хотя бы, напримъръ, главной, четвертой: никогда не противиться злу насиліемъ? И Толстой пожертвоваль глубиной этой заповъди широтъ ея: онъ призналь ее, какъ и всъ остальныя заповъди, не нормой, не «заповъдью», а только неосуществимымъ «идеаломъ», къ которому возможно только приближеніе. «Не думайте,—писалъ онъ въ одномъ письмъ 1891 года,— что я защищаю прежнюю точку зрънія Въ чемъ моя въра. Я не только не защищаю, но радуюсьтому, что мы пережили ее». И въ работъ «Царство Божіе внутри васъ» Толстой снова возвращается къ этимъ пяти заповъдямъ, но уже тщательно раздъляетъ въ нихъ «совершенство» и «зарубку», «идеалъ» и «заповъдь». Глубиной истины пришлось поступиться ради широты ученія, ради «проповъди» его 67).

Нъть необходимости слъдить подробно за этой глубоко-знаменательной религіозной пропов'єдью Толстого. До конца жизни онъ уяснялъ, популяризировалъ, облегчалъ понимание своего ученія. «Я предлагаю читателямъ новые доводы, приводящіе къ тъмъ же прежнимъ отвътамъ» -- говорилъ онъ самъ о себъ въ одномъ случав («Рабство нашего времени», 1900 г.), но могь бы повторить эти слова еще не одинъ разъ, даже о цълыхъ громадныхъ книгахъ (напримъръ, о послъдней своей книгъ «Путь жизни», 1910 г.). Есть туть и дополненія, и повторенія, и новые «углы зрънія», есть изумительныя по сил'в страницы (наприм'връ, чего стоитъ хотя бы одно описаніе бойни въ стать в «Первая ступень», 1891 года! И такихъ мъсть десятки, сотни); но анализу всего этого мъсто въ общирной монографіи о Толстомъ, которая еще не скоро можеть быть написана. Намъ достаточно подчеркнуть основное устремленіе всёхъ этихъ многочисленныхъ и глубоко цённыхъ статей: это одно основное устремленіе — подведеніе подо все религіознаго фундамента: и подъ вегетаріанство, и подъ земельный и подъ рабочій вопросы, и подъ всё проявленія дёятельности человъка. И Толстой въ этомъ правъ, ибо всякое міропониманіе религіозно, ибо всякое міропониманіе и есть религія. Толстому дано было съ громадной силой пережить всё три такихъ

единственно возможныхъ міроотношенія и дать попытку синтеза ихъ въ своемъ послёднемъ религіозномъ ученіи.

Такова была дъятельность Толстого въ девяностыхъ годахъ. Годы эти начались для него усиленной практической дъятельностью по голоду 1891—1892 гг.; и какъ ни далекъ былъ Толстой оть всякихь общественныхь настроеній своего времени; однако, и онъ не могъ не почувствовать, что «съ этимъ голодомъ что-то важное совершается, кончается или начинается» (письмо къ Н. Ге отъ 6 ноября 1891 г.). Кончалась мертвенная спячка общества восьмидесятыхъ годовъ; начинались молодые и бодрые девяностые годы, подготовившіе взрывъ 1905—1906 г. Отъ всего этого быль безконечно далекъ Толстой, относившійся съ осужденіемъ ко всякой общественной борьбъ; въ статьяхъ своихъ онъ одинаково возставалъ и противъ революціонеровъ, и противъ либераловъ, и противъ правительства. Больше всего, особенно въ последние годы жизни, ему приходилось возставать противъ преступленій «правящаго класса»; и въ этомъ Толстой былъ поистинъ голосомъ совъсти народной. Такія его статьи, какъ «Не могу модчать» (1908), долго еще будуть потрясать сердца людей и нашего, и слъдующихъ поколъній.

Работа въ области художественнаго творчества какъ будто сократилась за послѣднія двадцать лѣтъ жизни Толстого. Объясненіе лежить, отчасти, въ основныхъ мысляхъ его общирнаго труда «Что такое искусство?» задуманнаго уже давно, но доведеннаго до конца только къ 1897 году; отчасти же это сокращеніе только кажущееся, такъ какъ многія произведенія этой эпохи Толстой оставлялъ неизданными, и только въ посмертномъ изданіи они стали достояніемъ русской литературы. Тѣмъ не менѣс и въ это двадцатилѣтіе Толстой еще при жизни своей выпустилъ въ свѣтъ такія вещи,какъ разсказъ«Хозяинъ и работникъ» (1895 г.) большой романъ «Воскресеніе» (1899 г.), рядъ мелкихъ разсказовъ для «Круга Чтенія»—«Ягоды», «Корней Васильевъ» (1905 г.), рядъ небольшихъ сказокъ, разсказы «За что?» «Божеское и человѣческое» (1906 г.), «Три дня въ деревнѣ» (1910 г.) и многія

другія. Если къ этому далеко не полному перечню прибавить еще тѣ произведенія, которыя стали извѣстны только послѣ смерти Толстого и среди которыхъ есть такія замѣчательныя вещи, какъ «Отецъ Сергій» (1898 г.), «Живой трупъ» (1900 г.), «Фальшивый купонъ» (1903—04 г.), «Хаджи-Муратъ» (законченъ въ 1904 г.), «Алеша Горшокъ» (1905 г.), «Ходынка» (1910 г.) и еще цѣлый рядъ подобныхъ произведеній, то окажется, что и въ послѣдніе двадцать лѣтъ жизни Толстой много силъ отдавалъ художественному творчеству, хотя и считалъ его только «баловствомъ».

Такой взглядъ естественно вытекаль изътеоретическихъ построеній Толстого въ его стать в «Что такое искусство!». Въ ней, какъ извъстно, Толстой строго осудилъ почти все, что называется «искусствомъ» въ настоящее время, и далъ свое опредъление «искусства». Въ послъднемъ онъ былъ совершенно правъ. Всякое опредъление условно, и каждый, приступая къ изследованию извъстнаго круга явленій, должень указать, какой смысль онь придаеть характеризующему этоть кругь явленій понятію. Такъ поступиль и Толстой, обратившись къ опредвленію понятія «искусство» и не удовлетворившись данными ранъе опредъленіями. Здёсь Толстому пришлось повторить многое изъ того, что онъ говориль объ искусствъ еще въ своихъ недагогическихъ статьяхъ 1862 года, въ которыхъ онъ выставляль требование всеобщности искусства и находилъ, что все современное искусство стоитъ на ложномъ пути. «Я пришель къ убъжденію, —писаль тогда Толстой, — что все, что мы сдълали... (въ нскусствъ – И.-Р.), все сдълано по ложному, исключительному пути, не имъющему значенія, не им'єющему будущности и ничтожному въ сравненіи сь тъми требованіями и даже произведеніями тъхь же искусствь, образчики которыхъ мы находимъ въ народъ ...» И Толстой прибавляль, что стихи Пушкина и симфоніи Бетховена «не такъ безусловно и всемірно хороши», какъ народные стихи и напѣвы, которые не исключительны, а всеобщи 68). Двадцатью годами поздне, придя къ новой и последней своей вере, къ «христіанскому жизнепониманію», Толстой еще разъ затронуль вопрось объ искусствѣ въ статьѣ «Такъ что-же намъ дѣлать?» Тутъ онъ подходитъ къ мысли о религіозномъ фундаментѣ искусства, о его духовномъ рожденій въ мукахъ и страданіяхъ художника; «гладкихъ, жуйрующихъ и самодовольныхъ мыслителей и художниковъ не бываетъ»,—великолѣпно говоритъ Толстой. И еще: «только страданіями, какъ муками, рождается духовный міръ...» 69). Искусство есть выраженіе духовной дѣятельности, и признаки его, внутренній и внѣшній—жертва собою и всеобщность. Художникъ, истинный художникъ, отдаетъ свою душу людямъ, и притомъ не одному, не двумъ, не узкому кружку, а в с ѣ м ъ до единаго. И чѣмъ глубже жертва собою, чѣмъ всеобщнѣе пониманіе—тѣмъ подлинеѣе искусство.

Эти мысли, высказанныя въ статъв 1886 года, Толстой договориль до конца десятью годами позднее, въ статье «Что такое искусство?» (1897 г.). «Искусство, —говорить теперь Толстой, есть органъ жизни человъчества, переводящій разумное сознаніе людей въ чувство»; и онъ глубоко правъ-лучшаго и более яснаго опредъленія искусства не даль никто. Но весь вопрось въ томъ, что понимать подъ «разумнымъ сознаніемъ» людей. Для Толстого такое «разумное сознаніе» можеть быть, естественно, одно: жизнепониманіе испов'єдуемаго имъ «новаго христіанства». Лля такого жизпепониманія «Война и миръ»—ложное, «дурное искусство», въ то время какъ это же произведение является величайтимъ и геніальнъйшимъ для исповъдующаго «религію жизни». Абсолютнаго критерія нъть, но нъть и искусства, свободнаго отъ всякаго жизнепониманія, отъ всякой сознательной или безсознательной религіи. И въ этомъ смыслѣ «искусство для искусства» есть нъчто вполнъ невозможное, тщетная игра воображенія.

Такимъ образомъ, по существу и съ точки зрѣнія своего новаго христіанскаго жизнепониманія, Толстой глубоко правъ въ этомъ своемъ изслѣдованіи, единственная ошибка котораго—абсолютность вывода, который навсегда останется только отно-

сительнымъ. О другихъ ошибкахъ этой работы-ошибкахъ личнаго вкуса, желающаго быть общеобязательнымъ-можно было бы и не говорить, если бы это не задъвало творчества самого Толстого. Такъ, напримъръ, Толстой ръзко обрушивается на все «декадентство», приводить рядь «безсмысленныхь» стихотвореній французскихъ импрессіонистовъ (между ними, кстати сказать, великолъпныя «Sais-tu l'oubli» F. Vielè-Griffin'a п двъ «Ariettes oubliées» Верлэна); ему осталось какъ будто непонятнымъ стремленіе «импрессіонистовъ» углубить художественную впечатлительность и оть незначительныхъ внёшнихъ впечатлёній под--ваоды и тончайшимь оттвикамь и движеніямь души человьческой. Именно здёсь умёстно будеть отмётить (впервые обратиль на это вниманіе Д. Мережковскій въ своей книгѣ о Толстомъ и Достоевскомъ), что самъ Толстой въ своемъ художественномъ творчествъ принадлежить къ числу величайщихъ въ этомъ смыслъ «импрессіонистовъ», далеко превосходя всвхъ ихъ тонкостью своего письма. Герой «Юности» вдеть на извощикв глухими переулками Москвы и начинаеть уже побаиваться; но-«дорогой я усибль заметить, что спинка дрожекь обита кусочкомь зеленоватенькой матеріи, изъ которой быль и армякъ извозчика; это обстоятельство почему-то успокоило меня». Наобороть, въ «Метели» Толстой почему-то не довъряеть своему ямщику за то, что у ямщика уши были подвязаны платкомъ. Въ «Холстомъръ»-«въ выраженіи длинной спины конюха было что-то значительное и вызывающее состраданіе»... Критикъ пятидесятыхъ годовъ Дружининъ остереталъ Толстого отъ подобной «чрезмфрной тонкости анализа»: «иногда вы готовы сказать, -- говориль Дружининъ Толстому:--у такого-то ляжка показывала, что онъ желаеть путешествовать по Индін». Художникъ, однако, не вняль предостереженіямъ критика, но продолжаль открывать читателямъ глаза то на тотъ «одинъ полный, прекрасный звукъ, который мы называемъ тишиною ночи» («Набъть»), то на «скомканную бѣло-лиловую горную даль» («Людернъ»); онъ говорилъ намъ о своемъ снъ, въ которомъ онъ «терцію колокольчиковъ видъль въ

видъ собаки, которая лаетъ и бросается на меня» («Метель»). Въ «Войнъ и миръ», не говоря уже о знаменитой характеристикъ Пьера Наташей («онъ славный, темно-синій съ краснымъ... какъ вамъ растолковать»), цёдая глава посвящена тончайшимъ душевнымъ движеніямъ Наташи, которыя мы чувствуемъ, осязаемъ только по толчкамъ безсмысленныхъ словъ, въ родъ «островъ Ма-да-га-скаръ» («Война и миръ», т. II, ч. IV, гл. IX). Въ «Аннъ Карениной», не менъе геніально неудавшееся любовное объясненіе между Кознышевымъ и Варенькой (ч. VI, гл. V). Нечего говорить о знаменитомъ «запахъ жженой пробки, смътанномъ съ чувствомъ поцёлуя» Николая Ростова и Сони; о той мухё, которая связала и осмыслила весь предсмертный бредъ князя Андрея своимъ назойливымъ «и пити-пити-пити и ти-ти и питипити-пити»... Все творчество Толстого, съ начала и до конца, пронизано такимъ «чрезмърно-тонкимъ анализомъ», по выраженію нанвнаго Дружинина. И чудеснійшимь образомь эта глубочайщая внутреняя тонкость часто соединяется съ намфренной грубостью внёшности, грубостью слога. Не только въ однёхъ теоретическихъ статьяхъ Толстого встръчаются фразы, подобныя, напримъръ, слъдующей: «какъ у Платона есть миеъ о томъ, Богь опредвлиль сперва людямъ срокъ жизни 70 лътъ, что но потомъ, увидавъ, что людямъ хуже отъ этого, мънплъ на то, что есть теперь, т.-е. сдълалъ такъ, что люди не знають часа своей смерти, —т а к ъ точно върно опредъляль бы разумность того, что есть, миоъ о томъ, что люди сначала были сотворены безъ ощущенія боли, но что потомъ для ихъ блага сдёлано то, что теперь есть» («О жизни», 1887 г.). Фразъ подобной конструкціи не мало и въ «Войнъ и миръ», и въ «Аннъ Карениной»; иногда онъ даже мъщають пониманію мысли автора, но всегда придають изложенію спокойное величіе и неторопливую увъренность. Интересно отмътить, что, увидъвъ въ разсказъ одного начинающаго писателя «неправильязыка», Толстой заявляль: «про это не стоитъ ворить. И я не буду въ нихъ упрекать. Я люблю то,

называется неправильностью, и что есть характерность» (письмо 1887 г.).

Возвращаясь къ стать в «Что такое искусство?», мы еще разъ повторимъ, что личные мнънія и вкусы самого Толстого не могутъ дълать върными или невърными основныхъ теоретическихъ выводовъ статьи. Мнвнія эти крайне цвнны для характеристики художественныхъ симпатій и антипатій самого Толстого, какъ крайне ценень по той же причине и его критическій очеркь «О Шекспиръ и о драмъ» (1900 г.). Еще въ 1856 году извъстный другъ Бълинскаго, В. Боткинъ, говорилъ въ письмъ къ Дружинину о «знаменитой антипатіи Толстого къ Шекспиру, противъ которой такъ ратовалъ Тургеневъ...» Прошло полвъка, и Толстой написалъ уничтожающую статью о Шекспиръ, о величайшемъ его «Королъ Лиръ». Это цънвъйшая статья для характеристики личныхъ вкусовъ Толстого (ибо художественныя симпатіи и антипатіи великаго человъка всегда крайне интересны), но, разумъется, никакого общеобязательнаго значенія эти вкусы и мижнія не имжють и имъть не могуть. Шекспирь навсегда останется и послъ статьи Толстого величайшимъ изъ творцовъ драмы и величайшимъ изъ философовъ-художниковъ; точно также останется геніальной девятая симфонія Бетховена, оперы Вагнера, русская музыкальная школа и многое другое изъ того, что Толстой относиль къ ложному, «дурному искусству». И это именно оттого, что навсегда останутся истинными, на ряду съ ново-христіанскимъ жизнепониманіемъ Толстого, и другія великія жизнепониманія и міропониманія. Но въ рамкахъ своего отношенія къ міру и къ жизни Толстой глубоко логиченъ и правъ въ своихъ выводахъ относительно искусства.

Препятствовали ли эти выводы проявленіямъ художественнаго творчества Толстого девяностыхъ и девятисотыхъ годовъ? Если да, то въ очень малой степени. Конечно, Толстой не могъбы теперь, если бы даже хотѣлъ, отдаться «дурному искусству», какъ онъ его понималъ; конечно, въ своемъ художественномъ творчествѣ онъ могъ теперь лишь «претворять въ чувство» свое новое

«разумное сознаніе», свое жизнепониманіе. Но вѣдь это всегда неизбѣжно; сознательно или безсознательно, но это всегда такъ бываетъ; разница лишь въ томъ, что беллетристы впадаютъ при этомъ въ дидактику и тенденцію, а художники всегда остаются вѣрными высшей правдѣ жизни. Нечего и говорить про это о такомъ великанѣ-художникѣ, какимъ былъ Толстой; дидактикомъ онъ могъ и долженъ былъ быть въ своихъ теоретическихъ, поучающихъ статьяхъ, въ области же художественнаго творчества онъ былъ за тысячи верстъ отъ всякой «тенденціи», хотя всѣ его художественныя произведенія послѣдней четверти вѣка жизни и были неизбѣжнымъ отраженіемъ всего его міропониманія.

Въ 1895 году появился «Хозяинъ и работникъ», въ которомъ отразилась любимая евангельская притча Толстого о виноградаръ. Богъ-хозяинъ, человъкъ-работникъ на землъ, который должень какъ можно лучше выполнить данное ему дело-жизнь. Работникъ Никита всегда понималь это, спокойно жилъ, спокойно готовился и умереть; хозяинъ его, кулакъ-купецъ Брехуновъ, поняль это только въ моменть своей смерти, пожалъвъ замерзающаго Никиту и отогръвъ его своимъ тъломъ. То, что Ивану Ильичу открываеть долгая смертельная бользнь, —безсмысленность всей его былой личной жизни, -- то купцу Брехунову становится ясно только занъсколько минуть до смерти; но все равноне жизнь, такъ смерть откроетъ людямъ-братьямъ истину жизни и законъ любви, данный Хозяиномъ. Вотъ тема «Хозяина и работника», такъ близкая къ темъ «Смерти Ивана Ильича»; но вся эта «сукровица» разсказа облечена, какъ всегда у Толстого, плотью великаго художественнаго творчества; не схемы, не темы, не тенденціи, а живые люди д'вйствують въ разсказахъ, и лишь въ итогъ ихъ живыхъ дъйствій, а не словесныхъ поступковъ, просвъчиваеть въ произведении глубоко скрытая «сукровица».

Если въ «Хозяинъ и работникъ» сукровица эта была общая со «Смертью Ивана Ильича», то романъ «Воскресеніе», послъдній романъ Толстого (написанный, кстати сказать, «въ старой манеръ»), во многомъ возвращался къ темамъ «Анны Карениной»,

отчасти и «Крейцеровой сонаты» и «Дьявола». Что страданіе есть искупленіе-эта въчная тема Толстого (и Достоевскаго), тема «Анны Карениной», повторяется и въ «Воскресеніи»; только искупленіе это, неосознанное у Анны, сознательно у князя Нехлюдова, вновь воскресшаго прежняго героя юношескихъ разсказовъ Толстого. Того «дьявола», котораго убиль въ себъ-убивъ себя-Евгеній Иртеневъ, не смогь поб'єдить Дмитрій Нехлюдовъ; своею страстью онъ погубиль человъка, Катюшу-и разъ онъ созналъ это, то не искупить вины своей онъ не можетъ. Онъ бросаеть все-состояніе, положеніе въ свъть, мечты о семейной жизни и идеть за Катюшей, которая въдь по его винъ стала проституткой, въ Сибирь. Но не въ этомъ «воскресеніе» — это только внъщній путь къ нему; воскресеніе-въ самомъ концъ пути, на самыхъ последнихъ страницахъ романа, когда Нехлюдовъ, увидъвь все зло и вст ужасы жизни, съ сухимъ отчаяніемъ въ душт сталь задавать себъ вопросы: «зачъмъ? для чего?» Отвъть онъ нашель въ Евангеліи и только тогда воскресь для новой жизни, для новой радостной въры въ жизнь. И снова мы видимъ въ Нехлюдовъ самого Толстого, его мученія и его воскресеніе начала восьмидесятыхъ годовъ. Въ сущности не воскресение Нехлюдова видимъ мы въ романъ, а Катюши-и въ этомъ снова повторяется тема «Власти тьмы», какъ позднъе повторилась она-же въ «Фальшивомъ купонъ»: нътъ гръха, нътъ паденія души, препятствующаго воскресенію-воскресь убійца Никита, воскресла убившая себя Катюша. И какъ зло растеть сивжной лавиной-Нехлюдовъ и его поступокъ съ Катюшей, -- такъ и искорка добраго чувства Нехлюдова зажигаеть пламя любви и растапливаеть въ Катюшъ этотъ снъжный комъ гръха, грязи, гнъва. Катюша воскресаеть. Что-же касается Нехлюдова, то въ романъ, повторяю, его «воскресенія» еще нъть-есть только «хожденіе души по мытарствамъ», по всемъ кругамъ дантова ада: и по этапамъ съ политическими ссыльными, и по бюрократическимъ канцеляріямъ, и по бездушнымъ, машинообразнымъ чиновникамъ и сановникамъ. Въ (лицъ одного изъ нихъ, кстати сказать, выведенъ Побъдоносцевъ—конечно, не какъ портретъ, но какъ художественное отображеніе. Это надо отмѣтить потому, что само появленіе въ журналѣ романа Толстого было вызвано желаніемъ его достать—вопреки всѣмъ своимъ убѣжденіямъ—денегъ для помощи эмигрирующимъ отъ церковной политики Побѣдоносцева духоборамъ). И это хожденіе по мытарствамъ, это знакомство съ безконечными страданіями человѣческими есть единственный путь къ соціальному и религіозному «воскресенію» въ новую вѣру; можно думать, что Толстой вспоминалъ при этомъ и Ляпинскій домъ, и Ржанову крѣпость,—и снова приходилъ къ заключенію, что соціальному злу помочь нельзя иначе, какъ, отказавшись отъ условій жизни, производящихъ это зло. Этотъ путь личнаго совершенствованія, мы знаемъ, былъ для Толстого единственнымъ возможнымъ «воскресеніемъ». Къ нему подошелъ и Нехлюдовъ.

Внѣшнее мастерство, съ которымъ написанъ романъ—по-прежнему громадное; семидесятильтній великій старикь могь еще создавать такіе шедевры художественнаго творчества, какъ, напримъръ, типъ графини Чарской, семьи Корчагиныхъ, судейскихъ; нъсколько слабъе революціонеры, знакомство съ которыми Толстого было только мимолетнымъ. Впрочемъ, душа великаго художника, какъ губка воду, всегда впитывала и мимолетныя впечативнія; характерный мелкій примвръ этого мы имъемъ какъ разъ въ «Воскресеніи», при описаніи острога. За двадцать лъть до этого романа Толстой посътиль въ Туль острогъ, видъль тамъ рабочихъ, сидящихъ въ острогъ второй мъсяцъ «за безписьменность»; среди арестантовъ «старикъ слабый, вышелъ изъ больницы. Огромная вошь на щекъв». Такъ записалъ свои впечатлёнія Толстой въ дневникі 1—15 мая 1881 года. Въ написанномъ двадпатью годами поздиве «Воскресеніи» Нехлюдовъ встрівчаеть вы острогів сидящихь второй мізсяць «за безписьменность» рабочихъ, слушаетъ ихъ жалобы, но почти не понимаетъ ихъ, «потому что все внимание его было поглощено большой темносърой многоногой вошью, которая ползала между волосъ по щекъ

арестанта»... Одно изъ двухъ: либо самыя мелкія, казалось бы, впечатлѣнія врѣзались съ такой силой на десятилѣтія въ память Толстого, либо онъ при творчествѣ, обращаясь къ старымъ записямъ, воскрещалъ самыя мимолетныя былыя впечатлѣнія, когда-то занесенныя на бумагу «Богъ вѣсть для чего». Ито, и другое—удѣлъ только истиннаго художника.

Тридцать девятая и сороковая главы первой части «Воскресенія» до сихъ поръ еще извъстны русской публикъ только по спискамъ или по зарубежнымъ изданіямъ. Въ этихъ главахъ Толстой, въчный врагъ всего мистическаго, далъ описаніе церковной службы и совершенія таинства евхаристіи—описаніе протокольное и раціоналистическое. Это послужило поводомъ къ отлученію его актомъ Святъйшаго Синода отъ православной церкви въ 1901 году; отлученіе это, въ свою очередь, было причиною знаменитаго «Отвъта Синоду», написаннаго Толстымъ тогда же. Величайшій писатель русской земли оказался первымъ внъцерковнымъ изъ русскихъ писателей, и въ этомъ случать явился величайшимъ представителемъ русской внъвъроисповъдной интеллигенціи. Отлучить Толстого канцелярскимъ актомъ отъ церкви было, конечно, легко; отлучить его отъ Бога, который жилъ въ его душъ, было не въ синодской власти.

Вновь и церковные, и соціальные, и, прежде всего, философско-религіозные вопросы поставиль передь собою еще разъ Толстой въ «Живомъ трупѣ» (1900 г.), появившемся въ свѣть только десятью годами позднѣе, уже послѣ смерти Толстого. Въ этой драмѣ кое-что осталось незаконченнымъ, кое-что слегка только намѣченнымъ, но это не мѣшаетъ ей быть поистинѣ великимъ произведеніемъ великаго художника: все въ ней полно правдой и кипучей жизнью, въ ней по-прежнему принимается и міръ, и все въ мірѣ. Тема пьесы, стержень ея, конечно, не въ разводѣ, не въ процессуальныхъ нелѣпостяхъ судебнаго слѣдствія, не въ нелѣпости всего строя общественной жизни; все это есть, но не въ этомъ душа трагедіи. Трагедія же въ томъ, въ чемъ была она и въ «Аннѣ Карениной»; и недаромъ въ «Живомъ трупѣ» снова

оживаеть Анна Каренина, молодящаяся пятидесятилѣтняя grande dame. Ея сынъ, механическій Викторъ, и Лиза Протасова приняли стращную жертву: чтобы очистить путь для ихъ счастія, утопился Федя Протасовъ, мужъ Лизы, опустившійся, спившійся, но подлинно живой человъкъ. И они могутъ, послъ перваго ужаса, пойти по очищенному пути и быть счастливыми, такъ же какъ когда-то Вронскій съ Анной Карениной. И за это — неизбъжна кара. Въ «Аннъ Карениной» была кара внутренней трагедіи, въ «Живомъ трупъ»-кара болъе ужасная, ибо нелъпая, безсмысленная, -- кара вчёшняго закона. Но карается также и Федя Протасовъ, «живой трупъ», устроившій фиктивное самоубійство и думавшій этимь и жену освободить, и свое счастіе съ цыганкой Машей устроить. Такой двойной бухгалтеріи не знаетъ «божественная справедливость»; жертва собою должна быть до конца. И Федя тоже обреченъ на кару: фиктивность его самоубійства раскрывается, и онъ видить несчастіе и гибель тёхъ людей, для которыхъ онъ хотълъ пожертвовать собою. И онъ доводить жертву до конца-убиваеть себя. И здёсь конець драмы, такъ какъ, что будеть съ Лизой и Викторомъ, это уже слишкомъ извъстно для тъхъ, кто знаетъ предыдущія произведенія Толстого: судъ людскихъ законовъ для нихъ кончается, начнется сознательный или безсознательный судь своей совъсти... И все это справедливо, недаромъ послъднія слова умирающаго Өеди-«какъ хорошо!.. какъ хорошо!..» Словами этими заканчивается драма. Все хорошо, все справедливо, что идеть изъ глубины души челов вческой; благословенны и страданія, ибо ими растеть человъкь. Несправедлива и нелъпа только вся внъшняя «справедливость»-судъ, законы, внъшняя «правда»; но божественная справедливость независима отъ нихъ. О деталяхъ этой драмы здёсь не мёсто говорить; всюду видна рука великаго художника-и въ психологіи «живого трупа», и въ обрисовкъ grande dame Карениной, и князя Абрезкова, и трактирнаго философа Ивана Петровича, и кутежей съ пыганами. Полувъкомъ ранъе самъ Толстой восторгался этимъ «Шэлъ мэ верста»; теперь онъ воскресиль въ душт своей былыя

воспоминанія и не осудиль ихъ, какъ моралисть (тогда получилась бы тенденціовная, нехудожественная драма), но, какъ художникъ, приняль все живое въ мірѣ, все утвердилъ, все понялъ, все простилъ... И отсюда то глубоко освѣжающее и примиряющее впечатлѣніе, какое выносишь отъ этой такой молодой драмы великаго старика.

Рядъ замъчательныхъ произведеній былъ написанъ или законченъ Толстымъ почти одновременно съ этой драмой. Таковы «Отепъ Сергій», «Фальшивый купонъ», «Хаджи Муратъ». «Отепъ Сергій» (законченный въ 1898 году) повторяеть темы не одинъ разъ и прежде встръчавшіяся въ творчествъ Толстого. Одна изъ нихъ-больное мъсто великаго проповъдника, -была намъченаужевъ «Крестникъ» (1886 г.): соблазнъ у чительства хотълъ преодольть великій искатель. Хотьль-и не могь, не могь въ жизни; но въ творчествъ онъ не задумался низвести отца Сергія—«чудотворца» и учителя, направляющаго и исправляющаго жизнь людей, —не задумался поставить его ниже Пашеньки, тихо и незамътно дълающей гдъ-то въ глухой дыръ свое маленькое, никому, казалось бы, ненужное дело. И «сукровица» этого разсказа-не апологія малыхъ дёль, а наобороть, осужденіе того дъла, которое самому «дъятелю» кажется великимъ, и которое, по существу, оказывается только великимъ соблазномъ... Страшное это слово-«учитель!», и страшно оно потому, что часто дълаеть изъ искателя въчныхъ истинъ только проповъдника общедоступныхъ правилъ поведенія; мы видёли, какъ самъ Толстой поступался глубиной своего ученія ради широты его. Онъ самъ сознаваль это, и воть почему такъ много несомнънно личныхъ элементовъ въ его «Отцъ Сергіъ», вотъ почему и его мечтою было часто (если не всегда)—уйти, подобно отцу Сергію, уйти отъ своего дома, отъ своего учительства, уйти въ мужицкомъ платъв со странниками и странницами, уйти отъ мненія людей, отъ славы людской, уйти въ глубь Россіи и въ глубь самого себя...

Но мечта эта такъ и осталась пока неисполненной мечтой; онъ продолжалъ жить по-прежнему, продолжалъ писать, продолжалъ

учить, затаивь за внъшней проповъдью свои внутреннія исканія... Ему удалось создать еще такія вещи, какь «Фальшивый купонъ» (о которомъ мы уже говорили) и въ особенности, «Хаджи Муратъ» (законченъ въ 1904 г.) - юное, геніальное, «прежнее» произведеніе, утверждающее жизнь и зовущее къ въчной борьбъ за нее. Наряду съ ними, около того-же времени былъ написанъи «Алеша Горшокъ» (1905 г.), подлинный брилліанть чистой воды: всю мораль растянутой сказки «Объ Иванъ-дуракъ», написанной двадцатью годами раньше, Толстой высказаль теперь на трехъ-четырехъ страничкахъ въ яркомъ и незабываемомъ художественномъ образъ. Вообще сила художественнаго таланта не оставляла Толстого до послъднихъ дней жизни, когда онъ писалъ «Ходынку» (1910 г.) или народную комедію «Отъ ней всѣ качества» (1910 г.). Еше двадцатью пятью годами ранбе Толстой пытался написать на ту же самую тему (о власти вина) такую же комедію для народнаго театра, передълавъ разсказъ «Какъ чертенокъ краюшку выкупалъ» въ пьесу «Первый винокуръ» (1886 г.). Но тогда попытка вышла мало удачной-гораздо менье удачной, чымь написанная на порогъ смерти пьеса «Отъ ней всъ качества». Одно это показываеть, насколько сохранился таланть восьмидесятильтняго величайшаго писателя русской земли.

До послѣдней своей минуты не выпускаль онъ пера изъ рукъ, весѣ отдавшись проповѣди того религіознаго жизнепониманія, которое объясняло ему всю жизнь, весь міръ; и это свое убѣжденіе истины онъ хотѣль передать другимъ, хотя и сознаваль, и чувствоваль всю муку своего учительства. Проповѣдью начались для него девяностые годы, проповѣдью кончилась его жизнь; послѣдніе годы этой жизни онъ отдаль усиленной работѣ сперва надъ «Кругомъ Чтенія», затѣмъ надъ «Путемъ жизни». Работы эти были, мы знаемъ, не только одной внѣшней проповѣдью, но и глубокимъ процессомъ непрерывнаго роста души самого Л. Толстого; онъ даваль другимъ, что переживаль онъ въ себѣ. И величайшимъ актомъ этой внутренней работы былъ послѣдній актъ жизни Льва Толстого—его уходъ 28 октября 1910 года изъ

Ясной Поляны и его смерть 7 ноября 1910 г. на станціи Астапово...

Толстой захотёль выполнить свою мечту-уйти оть «учительства», какъ отепъ Сергій; онъ хотъль уйти также и оть той окружающей его обстановки, которая уже давно, съ восьмидесятыхъ годовъ, стала ему ненавистна. Почему уже давно онъ не ушелъ? Это всв мы узнали только послв его смерти, это ясно теперь хотя-бы изъ его драмы «И свъть во тьмъ свътить», начатой въ восьмидесятыхъ и продолженной въ девятисотыхъ годахъ. человъку ближніе ero!--могь бы поставить эпиграфомъ Толстой къ этой своей драмъ. Ближніе мъщали уйти отъ нихъ, уйти въ себя; а герой драмы хотъль уйти одинь, нищій, онъ молиль отпустить его: «не могу я такъ жить. Пожальй меня. Я измучился. Отпусти меня»; и онъ слышалъ въ отвътъ: «если ты уйдешь, то... я уйду подъ тоть повздъ, на которомъ ты повдещь...» («И свёть во тьм'в св'етить», действ. III, картина вторая, явл. V). Онъ повъриль; онъ ръшиль, что здъсь - кресть его, самый тяжелый искусь изъ всей его жизни. И онъ могь только молиться: «видно не хочешь Ты, чтобы я быль Твоимъ работникомъ въ этомъ Твоемъ дълъ; хочешь, чтобы я быль унижень, чтобы всъ могли на меня пальцемъ указывать: говорить, но не делаеть. Ну, пускай» (тамъ же, явл. VII). Такъ и было. И только ленивый не лягаль усталаго и измученнаго Льва за то, что онъ «говорить, но не дълаеть», за то, что проповъдуеть онъ одно, а дълаеть другое!.. Кресть этоть несь онь четверть въка. А когда онь поняль, что долженъ человъкъ найти себя во что бы то ни стало, не взирая ни на какихъ ближнихъ, когда решился онъ сбросить съ плечь свой тяжелый кресть, чтобы принять новый искусь-жизнь бездомнаго и одинокаго старика, —на него тогда возложила свой послъдній кресть Смерть...

Личная трагедія Толстого стала теперь достояніемъ человъчества; достояніемъ русской литературы остались величайшія художественныя произведенія Толстого, опредёляющія значеніе его въ исторіи этой литературы. Значеніе это трудно переопівнить; наобороть, часто сужденія современниковь страдають недооцінкой слишкомъ близкихъ къ данному времени явленій литературы и жизни. Съ Толстымъ этого, къ нашему счастью, не случилось. Уже теперь вполнъ ясно, что Толстой осуществилъ въ себъ высшую ступень синтеза послъ-пушкинской литературы, подобно тому какъ Пушкинъ былъ синтезомъ развитія всей предшествующей ему въковой русской литературы до-пушкинской. Пушкинъ завершилъ собою это въковое развитіе и далъ начало новому движенію; онъ былъ последней ступенью предыдущаго причиннаго ряда и цълью ряда телеологическаго, но онъ же сталъ первой ступенью на пути къ новому синтезу, новому литературному развитію. «Евгеніемъ Онъгинымъ», любимъйшимъ дътищемъ Пушкина, былъ далеко отодвинутъ старый и начатъ новый, «пушкинскій періодъ» развитія русской литературы. Быстрота развитія была головокружительная. Еще Бълинскій, умершій черезъ десять лътъ послъ смерти Пушкина, дождался появленія цълаго ряда мощныхъ талантовъ, немыслимыхъ внѣ причинной связи сь Пушкинымъ; главнымъ и замъчательнъйшимъ изъ нихъ былъ Тургеневъ. Прошло всего четыре года послъ смерти Вълинскаго и русская литература уже имъла Толстого. Если вспомнить при этомъ, что столътній юбилей со дня рожденія Бълинскаго почти

совпалъ съ годомъ смерти Толстого, и если оглянуться на это въковое развитіе русской литературы «пушкинскаго періода», то только тогда станетъ ясной вся громадность пути, начатаго Пушкинымъ и завершеннаго Толстымъ.

Толстой даль русской литературъ высшее развитие того, начало чему положилъ Пушкинъ; недаромъ и «Война и миръ» н «Анна Каренина» такъ близко связаны-мы это видъли-и по глубочайшимъ основаніямъ темы, и по величайшей подсознательной религіи съ «Евгеніемъ Онъгинымъ», и съ «Повъстями Бълкина», и съ первымъ русскимъ историческимъ романомъ-«Капитанской дочкой». Великая эпопея «Войны и мира»—наша философская, историческая и бытовая Иліада и Одиссея, равнаго которой нътъ ничего въ русской литературъ; по эпопея эта-только завершеніе того нушкинскаго цикла, который начался «Евгеніемъ Онътинымъ», великимъ русскимъ романомъ, въ которомъ недаромъ Бълинскій видъль «энциклопедію русской жизни». «Евгеній Онъгинъ»—начало новаго пути; «Война и миръ»—завершение его. И если во многомъ геніальная поэма Пушкина осталась непревзойденной и по выстраданной гармоніи, и по солнечному міровоспріятію, —то все же не случайно она только наше, національное сокровище, въ то время какъ «Война и миръ», оставаясь нашимъ, является и міровымъ произведеніемъ.

Но высшая точка пути—это всегда переломъ его, конецъ стараго, начало новаго; такъ путникъ, переходя черезъ горный кряжъ п достигнувъ высшей точки, видитъ передъ собою новую страну, по которой ему предстоитъ итти. Въ своемъ изслъдовани о Толстомъ и Достоевскомъ Д. Мережковскій ошибочно хотълъ видъть въ этихъ двухъ великанахъ «конецъ русской литературы»; но онъ справедливо указывалъ, что Толстымъ заключился «совершенно опредъленный, неповторяемый кругъ ея развитія»... Да, «Войной и миромъ» (не говоря о предыдущихъ, болье мелкихъ произведеніяхъ Толстого) дъйствительно заключился, достигъ высшей точки развитія пушкинскій циклъ русской литературы; Толстой и Тургеневъ достигли наивысшей

ступени синтеза въ послъ-пушкинскомъ творчествъ; Толстой п Тургеневъ-конецъ пушкинскаго цикла развитія, который, впрочемъ, еще долго будетъ жить въ текущей литературъ, не достигая уже однажды достигнутыхъ вершинъ. Но конецъ старагоначало новаго; и начало это положиль тоть же Толстой вмёстё сь Достоевскимь. «Новое» это достигло величайшей высоты уже въ «Аннъ Карениной» и въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Началось съ «мелочи», съ углубленія художественной впечатлительности, —мы видёли примёры этого въ произведеніяхъ Толстого (воть гдв лежаль корень исторической законности русскаго «декадентства»), а закончилось крупнымъ: внесеніемъ осознаннаго религіознаго элемента въ русскій пушкинскій реализмъ. Грандіозныя психологическія эпопен на религіозно-философскомъ фундаментъ были тъмъ «новымъ», что вытекало изъ пушкинскаго цикла развитія, но не заключалось въ немъ. Сознательно или подсознательно, но художественное творчество можетъ строиться только на религіозномъ фундаментъ, какова бы ни была эта религія. Такъ и «Евгеній Онъгинъ», и «Война и миръ» были построены на великой религіи жизни (чего вовсе и не сознавали тогда ихъ авторы); и именно эта религія жизни, религія Челов'вка, опред'вляла собою основное теченіе пушкинскаго цикла развитія русской литературы. Теперь нам'вчался новый циклъ художественнаго развитія, въ основу котораго должна была лечь новая религія Толстого, совпадающая во многомъ выработанными религіозными СЪ неокончательно основами Достоевскаго. И если теперь мы твердо говоримъ о пушкинскомъ циклъ, то можно думать, что будущій историкъ не менъе твердо скажеть о толстовскомъ циклъ развитія русской литературы. Въ такомъ гигантъ, какъ Толстой, неизбъжно сходятся начала и конпы.

Такъ въ исторіи русской литературы, но такъ и далеко за предълами ея, ибо Толстой—прежде всего и послъ всего—великій религіозный искатель, а не только великій творець и художникъ. Всъ три религіи міра пережиль онъ и всъ свои пережи-

ванія воплотиль въ художественномь творчествів. Великія исканія Бога Толстымь (и Достоевскимь) подняли русскую литературу на недосягаемую доселів высоту, но и самого Толстого вознесли они до степени величайшаго писателя земли русской.

Великія исканія эти—всегда тѣ же, путь для нихъ неизмѣненъ, но нѣтъ двухъ людей, которые совершили-бы этотъ жизненный путь съ начала и до конца по одной и той-же тропинкѣ. Отъ Бога къ Человѣчеству и Человѣку всю свою жизнь шелъ Бѣлинскій, этотъ же путь дважды и въ двухъ направленіяхъ совершилъ Левъ Толстой; пройдя за ними этотъ путь, мы можемъ убѣдиться, какъ различны великія исканія на единомъ великомъ пути 70). Различны исканія, различны и достиженія: одинъ создаетъ религію, увѣнчанъ міровой славой; другой извѣстенъ въ болѣе ограниченномъ кругу; третій, быть можетъ, затаилъ все въ глубинѣ души своей, молча пережилъ мучительную трагедію религіозныхъ исканій и умеръ безвѣстный, какъ и жилъ. Ихъ внѣшнее общественное значеніе—различно, несоизмѣримо; ихъ внутренняя человѣческая «значимость»—тождественна.

Великія исканія человѣка тогда велики, когда они въ немъ вѣчны. «Чтобы жить честно,—слышали мы отъ Толстого,—надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вѣчно бороться и лишаться»... Вѣчно стремиться, вѣчно искать—вотъ что показаль всѣмъ сво-имъ творчествомъ, своей жизнью и своей смертью великій искатель Левъ Николаевичъ Толстой.

1911-1912 г.



- 1) Поздравляя Григоровича съ пятидесятильтиемъ его литературной дъятельности, Л. Толстой писалъ ему: «помню умиление и восторгъ, произведенные на меня, шестнадцатильтняго мальчика, не смъвшаго върить себъ, «Антономъ Горемыкой», бывшимъ для меня радостнымъ открытиемъ того, что русскаго мужика, нашего кормильца и—хочется сказать—учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь ростъ, не только съ любовью, но съ уважениемъ и даже трепетомъ...» (письмо отъ 27 окт. 1893 г.).
- 2) «Человъкъ стремится, т. е. человъкъ дъятеленъ. Куда направлена его дъятельность? Какимъ образомъ сдълать эту дъятельность свободной? Въ этомъ заключается цъль философіи въ ея истинномъ значеніи. Другими словами: философія есть наука эксизни», —такъ говорить Толстой въ этой своей стать в 1847-го года. Въ томъ-же году онъ писалъ въ своемъ дневникъ: «Общество есть часть міра. Надо Разумъ согласовать съ міромъ, съ цълымъ, познавая законы его, и тогда можно стать независимымъ отъ части, отъ общества» (см. «Л. Н. Толстой», біографія; П. Бирюковъ, т. І, стр. 143—146).
- ⁹) «Помните, милая тетя, совъть, который вы мнъ когда-то дали—совъть писать романы? Такъ воть, я слъдую вашему совъту, и занятія, о которыхъ я вамъ разсказываю, заключаются въ литературной работъ. Появится-ли когда-нибудь въ свъть то, что я пишу—не знаю, но это работа, которая меня занимаетъ, надъ которой я упорствую слишкомъ давно и которую поэтому не могу бросить».
- 4) Въ первой главъ «Отрочества» есть нъсколько мъсть, напоминающихъ по своему построенію этоть отрывокъ изъ юношескаго дневника Л. Толстого. «Воть на пъшеходной тропинкъ, выощейся около дороги, видиъются какія-то медленно движущіяся фигуры: это богомолки... Меня занимають вопросы: куда, зачъмъ онъ идутъ? долго-ли продолжится ихъ путешествіе?.. Вонъ, далеко за оврагомъ, видиъется на свътло-голубомъ небъ деревенская церковь съ зеленою крышей; вонъ село, красная крыша барскаго дома и зеленый садъ. Кто живетъ въ этомъ домъ? есть-ли въ немъ дъти, отецъ, мать, учитель? Отчего бы намъ не поъхать въ этотъ домъ и не познакомиться съ хозяевами?..» (т. 1, стр. 158—159).
 - 5) «Отрочество», гл. III; см. т. I, стр. 170. Ссылки и цитаты по двадцатитомному «полному» изд. собр. сочин. Л. Толстого 1911 г.

- 6) Т. I, стр. 205 («Отрочество»).
- ⁷) Тамъ же, т. I, стр. 218 и след.
- 8) «Помню, какъ я, когда мнъ было 15 лътъ, переживалъ это время, какъ вдругъ я пробудился отъ дътской покорности чужимъ взглядамъ, въ которой жилъ до техъ поръ, и въ первый разъ понялъ, что мне надо жить самому, самому избирать путь, самому отвъчать за свою жизнь передъ тъмъ Началомъ, которое дало мнъ ее. Помню, что я тогда, хотя и смутно, но глубоко чувствоваль, что главная цель моей жизниэто то, чтобы быть хорошимъ, хорошимъ въ смыслъ евангельскомъ, въ смыслъ самоотреченія и любви. Помню, что я тогда-же попытался жить такъ, но это продолжалось недолго. Я не повъриль себъ, а повърилъ всей той внушительной, самоувъренной, торжествующей мудрости людской, которая внушалась мнз сознательно и безсознательно всвик окружающимъ. И мое первое побуждение замвнилось очень опредъленными, хотя и разнообразными желаніями успъха передъ людьми-быть знатнымь, ученымь, прославленнымь, богатымь, сильнымъ, т. е. такимъ, котораго бы не н самъ, но люди считали хорошимъ... Я не повъриль себъ тогда, и только послъ многихъ десятковъ лътъ, потраченныхъ на достижение мірскихъ целей, которыхъ я или не достигь, или которыхъ достигь и увидаль безполезность, тщету, а часто и вредъ ихъ, я поняль, что то самое, что я зналь 60 летъ тому назадъ и чему не повърилъ тогда, и можетъ, и должно быть единственной разумной цвлью усилій всякаго человвка...» («Вврьте себв»; собр. соч. т. XIX, стр. 532).
- *) «...Я восемнадцати лътъ кончу курсъ первымъ кандидатомъ съ двумя золотыми медалями, потомъ выдержу на магистра, на доктора и сдълаюсь первымъ ученымъ въ Россіи... даже въ Европъ я могу бытъ первымъ ученымъ... Ну, а потомъ?—спрашивалъ я самъ себя...» («Юностъ»; собр. соч. т. I, стр. 250).
- «...Я говориль себь: ну хорошо, ты будень славиве Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всвхъ писателей въ мірь—ну и что-жъ?..» («Исповъдь»; собр. соч. т. XIII, стр. 17).
 - ¹⁰) «Казаки»; собр. соч. т. II, стр. 111—112.
 - (11) Тамъ-же, т. II, стр. 247.
 - 12) Тамъ-же, т. II, стр. 195.
 - 13) Тамъ-же, т. II, стр. 251.
 - ¹⁴) «Набъть» (1852 г.); собр. соч., т. II, стр. 87—88....
- 15) «...Случай, который заставиль бы меня повърить въ Бора, если бы съ нъкоторыхъ поръ я уже не въриль твердо въ него ...» См. замъчательное письмо Л. Толстого къ Т. А. Ергольской, отъ 6 января 1852 года.
- 16) «....Памятное впечатлъніе (дътства)прівздъ знаменитаго американца Оедора Толстого (двоюроднаго дяди Л. Н.)Помню его прекрасное лицо: бронзовое, бритое, съ густыми бълыми бакенбардами до угловъ рта, и такіе же бълые курчавые волосы. Много бы хотълось разсказать про этого необыкновеннаго, преступнаго и привлекательнаго человъка» (Л. Толстой, «Воспоминанія дътства», 1905 г.). Это

послъднее свое намъреніе Л. Толстой уже давно отчасти выполнилъ въ «Двухъ гусарахъ» и еще болье въ «Войнъ и миръ».

- 17) «Въ 1800-хъ годахъ, въ тѣ времена, когда не было еще ни желѣзныхъ, ни шоссейныхъ дорогъ, ни газоваго, ни стеариноваго свѣта, ни пружинныхъ низкихъ дивановъ, ни мебели безъ лаку, ни разочарованныхъюношей со стеклышками, ни либеральныхъфилософовъ-женщинъ, ни милыхъ дамъ-камелій, которыхъ такъ много развелось въ наше время,—въ тѣ наивныя времена, когда...» и т. д. («Два гусара»; собр. соч., т. III, стр. 95).
- ¹⁸) «Толстовскій музей», т. І; «Переписка Л. Н. Толстого съ гр. А. А. Толстой»; стр. 133.
 - 19) Тамъ-же, стр. 101-102.
 - ²⁰) «Испов'вдь»; собр. соч. т. XIII, стр. 14.
 - 21) Письмо къ П. Д. Голохвастову въ іюль 1874 г.
 - ²²) «Война и миръ»; собр. соч., т. VIII, стр. 378.
- ²³) «Нъсколько словъ по поводу книги Война и миръ»; собр. соч., т. VIII, стр. 428—429. (Впервые появилось въ «Русск. Арх.» 1868 г., № 3).
- 24) Въ одномъ изъ писемъ 1865 г. (отъ 3 мая, къ княг. Волконской) Толстой сообщаетъ интересныя свъдънія о роли кн. Андрея въ первоначальномъ замыслъ романа: «Андрей Болконскій—никто, какъ и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаровъ. Я бы стыдился, печататься, ежели бы весь мой трудъ состоялъ въ томъ, чтобы списать портреть, разузнать, запомнить. Я постараюсь сказать, кто такой мой Андрей. Въ Аустерлицкомъ сраженіи, которое будеть описано, но съ котораго я началъ романъ, мнѣ нужно было, чтобы былъ убитъ блестящій молодой человъкъ; въ дальнъйшемъ ходъ самого романа, мнѣ нужно было только старика Болконскаго съ дочерью, по такъ какъ неловко описывать ничъмъ не связанное съ романомъ лицо, я ръщилъ сдълать блестящаго молодого человъка сыномъ стараго Болконскаго. Потомъ онъ меня заинтересовалъ, для него представилась роль въ дальнъйшемъ ходъ романа, и я его помиловалъ, только сильно ранивъ вмѣсто смерти…»
 - ²⁵) «Война и миръ»; собр. соч. т. V, стр. 386.
 - ²⁶) Тамъ-же; собр. соч., т. V, стр. 410, 426, 428.
 - ²⁷) Тамъ-же; собр. соч., т. VI, стр. 131, 132, 137.
 - ²⁸) Тамъ-же; собр. соч., т. VI, стр. 192—193 и т. VII, стр. 49 и 250-1.
 - ²⁹) Тамъ же; собр. соч., т. VII, стр. 313, 317 и т. VIII, стр. 72—81.
 - ³⁰) Тамъ-же; собр. соч., т. VI, стр. 37, 79—80, 360, 362; т. VII, стр. 96, 358; т. VIII, стр. 55—6,64, 120—122, 132, 189, 196.
 - 31) Письмо къ П. Д. Голохвастову въ мартъ 1874 года.
 - ³²) «Анна Каренина»; собр. соч., т. IX, стр. 363, 374; т. X, стр. 221, 231.
 - ³³) Тамъ-же; собр. соч., т. IX, стр. 189, 360, 371-2.
 - ³⁴) Тамъ-же; собр. соч., т. IX, стр. 465—1, 527, 529.
 - ³⁵) Тамъ-же; собр. соч., т. X, стр. 38, 39, 93—94, 228.
 - ³⁶) См. книгу «Великія исканія», стр. 56.

- ³⁷) «Анна Каренина»; собр. соч., т. IX, стр. 35, 50, 352; т. X, стр. 199, 448.
- ³⁸) Тамъ-же; собр. соч., т. IX, стр. 445—447; ср.стр. 450 и 480. Также «Толстовскій музей», т. I; «Переписка Л. Н. Толстого съ гр. А. А. Толстой», стр. 262—3 и 266.
 - ³⁹) «Исповъдь»; собр. соч., т. XIII, стр. 17—20.
 - 40) Тамъ-же; собр. соч., т. XIII, стр. 54, 58, 61.
- 41) «Критика догматическаго богословія»; собр. соч., т. XIII, стр. 381, 391—2.
- 42) «Воспоминанія гр. А. А. Толстой»; «Толстовскій Музей», т. І, стр. 71.
- ⁴³) «Краткое изложеніе Евангелія»; собр. соч., т. XIII, стр. 403—404.
 - 44) «Въ чемъ моя въра?»; собр. соч., т. XIII, стр. 615, 623.
- 45) «Кругъ чтенія», т. І; «4-ое апръля». Ср. тамъ-же: «главное средство жить радостно—это върить, что жизнь дана на радость. Если радость кончается—ищи, въ чемъ ты ошибся...»
 - 46) «О самоубійствъ» (1900 г.); собр. соч., т. XIX, стр. 203.
 - ⁴⁷) «Въ чемъ моя въра?»; собр. соч., т. XIII, стр. 634—637, 704.
- ⁴⁸) «Религія и нравственность»; собр. соч., т. XIV, стр. 45; «Царство Божіе внутри васъ»; собр. соч., т. XIV, стр. 383.
- 49) «...Три жизнепониманія эти сл'вдующія: первое-личное или животное, второе-общественное или языческое и третье-всемірное или божеское.-По первому жизнепониманію-жизнь человъка заключается въ одной его личности; цъль его жизни-въ удовлетворении воли этой личности. По второму жизнепониманию жизнь человъка заключается не въ одной его личности, а въ совокупности и последовательности личностей: въ племени, семьъ, родъ, государствъ; цъль жизни заключается въ удовлетвореніи воли этой совокупности личпостей. По третьему жизнепониманию жизнь человъка заключается и не въ своей личности, и не въ совокупности и послъдовательности личности, а въ началъ и источникъ жизни-въ Богъ.-Эти три жизнепониманія служать основой всіхь существовавшихь и существующихь религій.—Дикарь признаеть жизнь только въ себъ, въ своихъ личныхъ желаніяхъ. Благо его жизни сосредоточено въ немъ одномъ. Высшее благо для него есть наиполнъйшее удовлетворение его похоти. Двигатель его жизни есть личное наслаждение. Религія его состоить въ умилостивленіи божества къ своей личности и въ поклоненіи воображаемымъ личностямъ боговъ, живущимъ только для личныхъ цъдей.— Человъкъ языческій общественный признаеть жизнь уже не въ одномъ себь, но въ совокупности личностей-въ племени, семьь, родь, государствЪ, и жертвуетъ для этихъ совокупностей своимъ личнымъ благомъ. Двигатель его жизни есть слава. Религія его состоить въ возвеличении главъ союзовъ: родоначальниковъ, предковъ, государей, и въ поклоненіи богамъ-исключительнымъ покровителямъ его семьи, его рода, народа, государства. (То, что на этомъ общественномъ или языческомь жизнепониманіи основываются столь разнообразные склады

жизни, какъ жизнь племенная, семейная, родовая, государственная и даже теоретически представляемая—позитивистами—жизнь человъчества, это не нарушаеть единства этого жизнепониманія. Всъ эти разнообразныя формы жизни основаны на одномъ представленіи о томъ, что жизнь личности не есть достаточная цвль жизни, что смыслъ жизни можеть быть найдень только въ совокупности личностей).—Человъкъ божескаго жизнепониманія признаеть жизнь уже не въ своей личности и не въ совокупности личностей, въ семьъ, родъ, народъ, отечествь или государствь, а въ источникь вычной, неумирающей жизнивъ Богъ; и для исполненія воли Бога жертвуеть и своимъ личнымъ, и семейнымъ, и общественнымъ благомъ. Двигатель его жизни есть любовь. И религія его есть поклоненіе дівломъ и истиной началу всего-Богу.—Вся жизнь историческая человъчества есть не что иное, какъ постепенный переходь отъ жизнепониманія личнаго, животнаго, къ жизнепониманію общественному, и отъ жизнепониманія общественнаго къ жизнепониманію божескому...» («Царство Божіе внутри вась»; собр. соч., т. XIV, стр. 384-385).

«...Основныхъ отношеній человъка къ міру, т. е. религій, есть только три: 1) первобытное личное, 2) языческое общественное и 3) христіанское или божеское...-Первое изъ этихъ отношеній, самое древнее-то, которое теперь встръчается между людьми, стоящими на самой низшей степени развитія—состоить въ томъ, что челов'вкъ признаеть себя самодовльющимъ существомъ, живущимъ въ міръ для пріобретенія въ немъ наибольшаго возможнаго личнаго блага, независимо отъ того, насколько страдаетъ отъ этого благо другихъ существъ. Изъ этого самаго перваго отношенія къ міру, въ которомъ находится всякій ребенокъ, вступая въ жизнь, и въ которомъ жило челов'ячество на первой языческой ступени своего развитія и живуть еще и теперь многіе, отдъльные, самые нравственно грубые люди и дикіе народы, вытекають всв языческія древнія религіи, такъ же какъ и низшія формы позднівшихъ религій въ ихъ извращенномъ виді: буддизмъ, таосизмъ, магометанство и друг. Изъ этого же отношенія къ міру вытекаетъ и новъйшій спиритизмъ, имъющій въ основъ своей сохраненіе личности и блага ея. Всв языческіе культы-обоготворенія такихъ же, какъ и человъкъ, наслаждающихся существъ, всъ жертвоприношенія и моленія о дарованіи благъ земныхъ-вытекають изъ этого отношенія къ жизни. Второе языческое отношеніе человъка къ міру, общественное-то, которое устанавливается имъ на слъдующей ступени развитія, отношеніе, свойственное преимущественно возмужалымъ людямъ-состоить въ томъ, что значение жизни признается не въ благь одной отдъльной личности, а въ благь извъстной совокупности личностей: семьи, рода, народа, даже человъчества (попытка религіи позитивистовъ).—Смыслъ жизни при этомъ отношеніи человъка къ міру переносится изъ личности въ семью, родъ, народъ, въ извъстную совокупность личностей, благо которой и считается при этомъ цълью существованія. Изъ этого отношенія вытекають всь одного характера религіи патріархальныя и общественныя: китайская

и японская религіи, религія избраннаго народа-еврейская, государственная религія римлянь, предполагаемая религія человічествапозитивистовъ. Всв обряды поклоненія предкамъ въ Китав и Японіи. поклоненія императорамъ въ Рим'в зиждутся на этомъ отношеній человъка къ міру. Третье отношеніе человъка къ міру, христіанское то, въ которомъ невольно чувствуеть себя всякій старый человькъ и въ которое вступаеть теперь, по моему мн внію, челов вчество-состоить въ томъ, что значение жизни признается челов'якомъ уже не въ постиженіи своей личной цізли или цізли какой либо совокупности людей, а только въ служени той Воль, которая произвела его и весь міръ для достиженія не своихъ цълей, а цълей этой Воли. Изъ этого отношенія къ міру вытекаеть высшее изв'єстное намъ религіозное ученіе, зачатки котораго были уже у писагорейцевъ, ессеевъ, у египтянъ и у персовъ, браминовъ, буддистовъ и таосистовъ въ ихъ высшихъ представителяхъ, но которое получило свое полное и послъднее выражение только въ христіанствъ-въ его истинномъ, неизвращенномъ значеніи. Всввозможныя религіи, какія бы онв ни были, неизбъжно распредвляются между этими тремя отношеніями людей къ міру. Всякій человъкъ, вышедшій изъ животнаго состоянія, неизбъжно признаеть то, или другое, или третье изъ этихъ отношеній, и въ этомъ признаніи и состоить истинная религія каждаго человъка, несмотря на то, къ какому исповъданію онъ номинально признаеть себя принадлежащимъ.--Каждый человекь непременно какъ нибудь представляеть себе свое отношение къ міру, потому что разумное существо не можеть жить въ мірь, окружающемъ его, не имъя какого либо отношенія къ нему. А такъ какъ отношеній къ этому міру человічествомъ до сихъ поръ выработано и намъ извъстно только три, то всякій человъкъ неизбъжно держится одного изъ трехъ существующихъ отношеній и хочеть или не хочеть того-принадлежить къ одной изъ трехъ основныхъ религій, между которыми распределяется весь родь человіческій» («Религія и нравственность»; собр. соч., т. XIV, стр. 33—35).

Эти же мысли встръчаются и въ перепискъ Толстого; см. напр., его письмо къ Л. Е. Оболенскому отъ декабря 1892 года.

- ⁵⁰) «Испов'вдь», собр. соч., т. XIII, стр. 56; «Въ чемъ моя вѣра?», собр. соч., т. XIII, стр. 646 (см. также стр. 644—647, 713 и 716); «О смыслъ жизни» (1900 г.), собр. соч., т. XIX, стр. 208; «Для чего мы живемъ» («Мысли о смыслъ жизни»), собр. соч., т. XX, стр. 26; «Кругъ Чтенія», статья «Совершенствованіе», и мн. др.
 - ⁵¹) «Царство Божіе внутри васъ»; собр. соч., т. XIV, стр. 392—393.
 - ⁵²) Письмо къ Д. А. Хилкову; собр. соч., т. XX, стр. 298.
 - 53) «Христіанское ученіе» (1897 г.); собр. соч., т. XIV, стр. 98.
- 54) «Кругъ чтенія», на «30-е апръля»; «Для чего мы живемъ» («Мысли о смыслъ жизни»), собр. соч., т. XX, стр. 31.
- 55) «За всю мою жизнь два русскихъ мыслящихъ человъка имъли на меня большое нравственное вліяніе и обогатили мою мысль, и уяснили мнъ мое міросозерцаніе. Люди эти были не русскіе поэты, ученые, проповъдники,—это были два замъчательныхъ человъка,

оба крестьяне: Сютаевъ и Бондаревъ» («Такъ что-же намъ дѣлать?», 1886 г.; собр. соч., т. XV, стр. 275—276).

- 56) Въ заключеніи статьи 1906 года «О значеніи русской революціи» Толстой приходить къ извъстному положенію стараго народничества объ особомъ пути развитія Россіи о томъ, что Россія можеть воспользоваться отрицательнымъ примъромъ соціальной жизни запада и избъжать уже выяснившихся ошибокъ-разрушенія общины, развитія капитализма. «Намъ, восточнымъ народамъ, надо быть благодарными судьбъ за то, что она поставила насъ въ такое положение, въ которомъ мы можемъ воспользоваться примеромъ западныхъ народовъ, воспользоваться этимъ примъромъ не въ томъ смыслъ, чтобы подражать имъ, а напротивъ, въ томъ смыслъ, чтобы не повторить ихъ ошибки, не дълать того, что они дълали, не ходить по тому гибельному пути, съ котораго уже возвращаются или готовы возвращаться намъ навстрѣчу такъ далеко ушедшіе по немъ западные народы» (Собр. соч., т. XIX, стр. 495). Въдь это слово въ слово то самое, что говориль Михайловскій, главный теоретикь народничества семидесятыхъ годовъ (-см. его Собр. соч., т. I, 902-903; см. также нашу «Исторію русской общественной мысли», изд. 3-ье, т. II, стр. 147—8). Но Михайловскій говориль это еще въ началь семидесятыхъ годовъ и впослъдствіи самъ призналъ ошибку этой теоріи; Толстой же повторяль это уже въ началъ ХХ въка.
- ⁵⁷) См. П. Бирюковъ, біографія Л. Н. Толстого, т. II, стр. 69; и «Сонъ» (1909 г.), собр. соч., т. XVI, стр. 487.
- 58) Къ теоріи Генри Джорджа Толстой сперва относился отрицательно; въ работь 1886 г. «Такъ что-же намъ дълать?» онъ приводить теорію Джорджа какъ «поразительную иллюстрацію» безсилія экономической мысли ръшить справедливо соціальную проблему (собр. соч., т. XV, стр. 148—149); но не прошло и четырехъ лътъ, какъ Толстой сдълался—и уже до конца своей жизни—горячимъ сторонникомъ этой теоріи. См. статью 1890 г. «О землъ» («О проектъ Генри Джорджа»), собр. соч., т. XVI, стр. 67—71, и статью 1893 г. «Къ рабочему народу», собр. соч., т. XVI, стр. 141 и слъд.
- 59) «Не смъшивай прогресса истиннаго, религіознаго съ прогрессомъ техническимъ, научнымъ, художественнымъ. Успъхъ техническій, научный, художественный можетъ быть очень великъ вмъстъ съ отсталостью религіозною, какъ это происходитъ въ наше время. Можетъ быть и наоборотъ» («Кругъ Чтенія», на «20-е февраля»).
- 60) Въ знаменитой статъв 1862 года «Кому у кого учиться писать: крестьянскимъ ребятамъ у насъ мли намъ у крестьянскихъ ребятъ», напечатанной въ журналъ «Ясная Поляна», Толстой разсказываетъ о процессъ художественнаго творчества при писаніи крестьянскими ребятами своихъ «сочиненій». Нъкоторыя изъ такихъ сочиненій полностью напечатаны въ этомъ журналъ; Толстой анализируетъ лучшія изъ нихъ: «Солдаткино житье» и «Ложкой кормитъ, стеблемъ глазъ колетъ» (см. собр. соч., т. IV, стр. 176—181 и 187—198). Тамъ приведены большіе отрывки, по которымъ можно судить о сходствъ по типу

этихъ «сочиненій» крестьянскихъ ребять съ религіозно-народными произведеніями Толстого восьмидесятыхъ годовъ. Подробнъе эти крестьянскія «сочиненія» см. въ журналъ «Ясная Поляна», 1862 г., № 4 и слъд. Они приведены также въ извъстныхъ «Русскихъ книгахъ для чтенія», составленныхъ Толстымъ для своей «Азбуки» 1874 года. Тогда же, въ началъ семидесятыхъ годовъ, Толстой сдълалъ первыя попытки писать разсказы въ такомъ простомъ, наивномъ, «дътскомъ» стилъ: имъ были написаны тогда «Кавказскій плънникъ» и «Богъ правду видитъ, да нескоро скажетъ».

- 61) Старый дьяволь, дъйствующій въ этой сказкъ, и желающій научить людей «головой работать», чтобы этимъ путемъ внести раздъленіе и неравенство въ людскія отношенія—первый звукъ позднъйшаго соціальнаго теченія «махаевщины», много заимствовавшей въ этой области и отъ толстовства, и отъ стараго народничества вообще (см. нашу книгу «Объ интеллигенціи»). Ср. характерное мъсто въ XIV главъ толстовскаго «Такъ что-же намъ дълать?»: «образованіе—это тъ формы и знанія, которыя должны отличать человъка отъ другихъ. И цъль его та-же, какъ и чистоты: отдълить себя отъ толпы бъдныхъ для того, чтобы они, голодные и холодные, не видали, какъ мы празднуемъ...» (Собр. соч., т. XV, стр. 86). «Сказка объ Иванъ-дуракъ», написанная въ одно время съ работой «Такъ что-же намъ дълать?», является въ сущности только художественной иллюстраціей къ этому теоретическому изслъдованію о деньгахъ, о собственности, о земельномъ трудъ, объ образованіи, о насиліи.
- 62) «Крестникъ», собр. соч., т. XI, стр. 191; «Путь жизни» (1910 г.), гл. XV, стр. 240.—Приводимъ кстати мѣсто изъ посланія къ Римлянамъ, гдѣ встрѣчаются эти знаменитыя слова—Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ, съ ссылкою на Второзаконіе, гдѣ слова эти попадаются впервые: «не мстите за себя, возлюбленные, но дайте мѣсто гнюву Бонсію. Ибо написано: Мнѣ отмщеніе и Азъ воздамъ, говоритъ Господь (Второзак., 32, 35). Итакъ, если врагъ твой голоденъ, накорми его, если жаждетъ, напои его; ибо, дълая сіе, ты соберешь ему на голову горящіе уголья...» (Римлянамъ, XII, 19—20).
- ⁶³) «Такъ что-же намъ дълать?», собр. соч., т. XV стр. 303—310 и тамъ-же письмо 1886 года по поводу возраженій на эту статью, собр. соч., т. XV, стр. 313—316; подчеркнуто въ текстъ мною.
- ⁶⁴) О любви Толстого къ музыкъ, особенно мажорной—см. «Русскія Въдомости», 1911 г., № 256 и слъд.
 - 65) «Война и миръ»; собр. соч., т. VI, стр. 71—73.
- 66) Изъ писемъ гр. Софіи Андреевны Толстой къ Л. Толстому.— Характеренъ также слѣдующій эпизодъ, о которомъ простодушно разсказываеть въ своихъ воспоминаніяхъ гр. А. А. Толстая: когда она была въ 1891 году у Л. Толстого, онъ читалъ ей отрывки изъ своей работы о мирѣ и объ уничтоженіи войны (вѣроятно гл. V и слѣд. изъ книги «Царство Божіе внутри васъ»). «Софья Андреевна сообщила мнѣ послѣ,—разсказываетъ гр. А. А. Толстая,—что на вопросъ ея, о чемъ онъ разговаривалъ со мной такъ долго, онъ отвѣчалъ: я обращалъ

Alexandrine къ своимъ мыслямъ насчетъ войны.—Мы очень смъялись этой его претензіей...» («Толстовскій Музей», т. І, стр. 62). Такъ за спиной великаго человъка смъялись надъ нимъ близкіе его; и недаромъ Толстой часто задаваль себ'в евангельскій вопрось-кто есть мой близкій?—Это продолжалось до самыхъ последнихъ леть жизни Толстого. о чемъ много характерныхъ подробностей разсъяно въ запискахъ Н. Н. Гусева. На этой почв'в становится понятнымъ странное, казалось-бы, послъсловіе Толстого (1905 г.) къ разсказу Чехова «Душечка». Чеховъ добродушно и любовно посм'вялся надъ Олечкой, которая всецело живеть интересами техъ, съ кемъ живеть; а Толстой серьезно взялъ подъ свою защиту это «высшее, лучшее и наиболъ приближающее человъка къ Богу дъло, -- дъло любви, дъло полнаго отданія себя тому, кого любишь, которое такъ хорошо и естественно делали, делають и будуть делать хорошія женщины...» Если бы не было такихъ женщинъ, продолжаетъ Толстой, то «не было бы на каторгъ женъ декабристовъ, не было бы у духоборовъ ихъ женъ, которыя не удерживали мужей, а поддерживали ихъ въ ихъ мученичествъ за правду...» («Кругъ чтенія»; см. также собр. соч., т. XVII, стр. 128). Все это слишкомъ явное pro domo sua, чтобы нуждаться въ поясненіяхъ...

- 67) На это умаленіе и приниженіе прежней въры Толстого, на это приспособленіе ея ad usum delphini до сихъ поръ не обращали достаточнаго вниманія. А между тъмъ эта, казалось бы, небольшая уступка Толстого толстовству—по существу громадна; стоитъ только сравнитъ соотвътственныя мъста «Въ чемъ моя въра?», собр. соч. т. XIII, стр. 601—602 и «Царство Божіе внутри васъ», собр. соч. т. XIV, стр. 396—397. Только при такомъ облегченномъ толкованіи пяти евангельскихъ заповъдей Толстой ръшился придать пятой изъ нихъ правильный смыслъ: «люби врага» онъ понималъ раньше, въ 1883 г., только въ смыслъ національномъ, массовомъ, теперь, въ 1891 г., онъ понимаетъ эту заповъдь въ единственно правильномъ, по евангелію, смыслъ личномъ, индивидуальномъ (см. тамъ-же, а также собр. соч., т. XIII, стр. 591—595). Но зато теперь это только «идеалъ», «совершенство»; «заповъдь»-же и «зарубка» облегчаютъ и популяризируютъ эту этическую норму...
- 68) «Ясно-полянская школа за ноябрь и декабрь мъсяцы 1862 г.», собр. соч., т. IV, стр. 305.
 - 69) «Такъ что-же намъ дълать?», собр. соч., т. XV, стр. 259.
 - 70) См. книгу «Великія исканія», стр. 121—123.

КАТАЛОГЪ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВА

"NPOMETEK'

С.-Петербургъ, Поварской, 10.

AKOKTO AOHAOHTO

Собраніе сочиненій съ предисловіемъ

Леонида Андреева.

- І. Морской волкъ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Т.
- T. П. Обреченные. Игра. Ц. 1 р.
- III. Въра въ человъка. Разсказы. Ц. 1 р. Т.
- T. IV. Приключенія рыбачьяго патруля. Богъ его отповъ. П. 1 р.
- T V. Сынъ волка. Лунный ликъ. П. 1 р.
- VI. Голосъ крови. Повъсть. Ц. 1 р. Т.
- VII. Сынъ Солнца. Романъ. Ц. 1 р. 25 к.
- Т. VIII. Дочь Снёговъ. Романъ. П. 1 р.
- Т. ІХ. Бѣлый клыкъ. Повѣсть. Ц. 1 р.
- Т. Х. Мартинъ Идэнъ. Романъ. Ц. 1 р. 50 к.
- Т. XI. До Адама. Повъсть. Ц. 1 р.
- Т. XII. Приключеніе. Романъ. Ц. 1 р.
- Т. XIII. Когда боги смъются. Разсказы. II. 1 р.
- Т. XIV. Любовь къ жизни. Ц. 1 р.

Чудесный таланть!.. Въ Джэкъ Лондонъ я люблю его спокойную силу, твердый и ясный умъ, гордую мужественность... И молодому Джэку Лондону принадлежить славное мъсто среди сильныхъ. Талантъ его свъжъ и проченъ, выдумка богата, опытъ огроменъ.

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

"KH-BO HPOMETEЙ."

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПОВАРСКОЙ, Ю.

АМФИТЕАТРОВЪ, А. В.

Паутина. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Аглая. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Раздълъ. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Дочь Викторіи Павловны. Романъ. Печатается. Марья Лусьева за-границей. Романъ. Ц. 1 р. 25 к. Девятидесятники. Романъ. Ч. І. Ц. 1 р. 50 к. Девятидесятники. Романъ. Ч. ІІ. Ц. 1 р. 50 к. Сумерки божковъ. Романъ. Ч. ІІ. Ц. 1 р. 25 к. Сумерки божковъ. Романъ. Ч. ІІ. Ц. 1 р. 50 к. Противъ теченія Ц. 1 р. Антики. Ц. 1 р. 25 к.

А. В. Амфитеатровъ ярко талантливъ, много на своемъ въку видълъ и между прочими достоинствами обладаетъ однимъ превосходнымъ и ръдкимъ, какъ бълый воронъ среди черныхъ, достоинствомъ—великолъпнымъ русскимъ языкомъ, богатымъ, сочнымъ, своеобычнымъ, но въ то же время безъ вывертокъ и щегольства.. Это настоящій писатель, отмъченный при рожденіи поцълуемъ Аполлона въ уста".

"Русское Слово" 20. XI. 1910. A. A. ИЗМАЙЛОВЪ.

Левъ Ждановъ.

Въ стѣнахъ Варшавы. Ром.-хроника. Ч. І. Ц. 1 р. 50 к. Въ стѣнахъ Варшавы. Ром.-хроника. Ч. П. Ц. 1 р. 50 к. Осажденная Варшава. Романъ-хроника. Ц. 1 р. 25 к. "Сгибла Польша". Романъ-хроника. Ц. 1 р. 25 к. Послѣдній фаворитъ. Романъ-хроника. Ц. 1 р. 75 к.

—Живое изложеніе, умёлый діалогь, множество выраженій, веятыхь изъ старинныхъ источниковь,—все это дёлаеть хроники г. Жанова занимательными и полными историческаго интереса.

"Въстникъ Европы", Евг. Л.

Всъ книги издат-ва "ПРОМЕТЕЙ" высылаются наложен. платежомъ.

"KH-BO UPOMETEŇ."

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПОВАРСКОЙ, Ю.

УЧЕБНИКИ И УЧЕБНЫЯ ПОСОБІЯ. Н. МИШЕЕВЪ.

Преподаватель педагогическихъ классовъ СПБ женскихъ институтовъ: Смольнаго, Александровскаго, Павловскаго и женской гимназіи Принцессы Ольденбургской.

ОЧЕРКИ ИСТОРІИ ПО ВСЕОБЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЪ.

Ч. І. Греція и Римъ. Ц. 1 р.

Учебнымъ Комитетомъ Въдомства Учр. Императрицы Маріи ДОПУЩЕНО въ начествъ учебнаго руководства при прохожденіи курса Ист. Всеобщ. лит. въ 8-мъ нлассъ женскихъ институтовъ и гимназій.

- Ч. II. Средніе Вѣка и Эпоха Возрожденія. Ц. 1 р. 25 к. Учеб. Ком. Вѣдомства Учр. Императрицы Маріи <u>О Д О Б Р Е Н О</u> въ качествѣ учебнаго руноводства при прохожденіи курса Ист. Вс. лит. въ 8 классѣ женскихъ институтовъ и гимназій.
- Ч. III. Литература новаго времени. Ц. 1 р. 25 к. Учебн. Ком. Въд. Учрежд. Императрицы Маріи РЕКОМЕНДОВАНО въ начествъ учебнаго руководства при прохожденіи курса Ист. Всеобщ. лит. въ 8-мъ классъ женскихъ институтовъ и гимназій. Учебн. Ком. Минист. Народн. Просвъщ. призналъ настоящую книгу подлежащей включенію въ списокъ книгъ, заслуживающихъ вниманіе при пополненіи ученическихъ, старшаго возраста, библіотенъ среднихъ учебныхъ заведеній.

ОРНАТСКІЙ, И. В.

Школьныя наглядно-образовательныя таблицы

"КРУГОМЪ НАСЪ". Изданіе второе. Ц. 5 р. Ученымъ Номитетомъ Мин. Нар. Просяъщенія таблицы ДОПУЩЕНЫ въ начальныя школы.

РАЗСКЗЧИКЪ. Въ самономощь учащимся. Пособіе къ развитію рѣчи. Темы для письменнаго изложенія и наглядное схематическое изображеніе плановъ сочиненій, въ 3-хъ книгахъ съ многочисленными иллюстраціями.

~ Книга 1-я. Ц. 20 к. Книга 2-я. Ц. 25 к. Книга 3-я. Ц. 25 к.

"KH-BO HPOMETEЙ."

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПОВАРСКОЙ, Ю.

ФРИДРИХЪ НИЦШЕ.

Такъ говорилъ Заратустра. Переводъ Ю. М. Антоновскаго. Изданіе 4-е. Ц. 1 р. 25 к.

Русскій читатель имѣетъ, наконецъ, не только полный, но и строго литературный переводъ книги, проведшей глубочайшую борозду въ душѣ современнаго человѣка.

А. Вергежскій. "Рѣчь". (25 янв. 1907 г., № 20).

НИЦШЕ, Фр. Автобіографія. Ессе Ното. Полный переводь съ нѣмецкаго подъ редакціей и съ предисловіемь Ю. М. Антоновскаго. Ц. 1 р.

По снятіи ареста поступила въ продажу автобіографія Фридриха Ницше "Ессе homo", въ изданіи "Прометея", подъ редакціей и съ предисловіемъ Ю. Антоновскаго, небезызвъстнаго русскаго переводчика Ницше

Книга эта никогда не переводилась въ Россіи съ нъмецкаго подлинника, и самый подлинникъ этотъ составляетъ теперь библіографическую ръдкость.

Готовый уйти изъ жизни, жертва уже безжалостно надвигающагося безумія, великій геній, теряющій разсудокъ, пишеть одну изъ книгъ, гдѣ манія величія, переливающаяся въ истинную сатанинскую гордость, превосходитъ все, что только появлялось въ литературѣ на протяженіи 19-ти вѣковъ.

Ницше издаль свою книгу съ золотой виньеткой. Первыя строки каждой главы набраны золотомъ. Вся книга написана подъ-рядъ, безъ единаго абзаца. Сокрушающей маніей величія въетъ отъ самыхъ названій главъ этой книги: "Почему я такъ мудръ", "Почему я такъ уменъ", "Почему я пишу такія хорошія книги" и т. д.

— Я самъ еще не своевремененъ, — нѣкоторыя рождаются послѣ смерти. Нѣкогда нужны будуть учрежденія, гдѣ будуть жить и учить, какъ я понимаю жизнь и ученіе; будуть, быть можеть, учреждены особыя каеедры для толкованія "Заратустры". Кто береть въ руки мою книгу, тотъ оказываеть себѣ самую рѣдкую честь... Кто думалъ, что онъ что-нибудь понималъ у меня, тотъ дѣлалъ изъ меня нѣчто подобное своему образу...

"RH-BO HPOMETEЙ."

С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ПОВАРСКОЙ, 10.

Но изумительно интересна, при всемъ томъ, эта послъдняя книга генія, написанная наканунъ безумія. Ницше перебираєтъ едъсь всъ свои сочиненія и комментируєть ихъ такъ, какъ это сдълали нашъ Гончаровъ или Альфонсъ Додэ. Многое темное становится послъ ея прочтенія яснымъ. Все-таки комментарій писателя о самомъ себъ лучше многотомныхъ паслъдованій чужой души.

А. ИЗМАЙЛОВЪ.

«Русское Слово». 4 февраля 1912 г.

Появленіе этой книги, въ началь арестованной, неизвъстно, по какимъ соображеніямъ, а нынъ освобожденной отъ ареста, слъдуетъ живъйшимъ образомъ привътствовать. Русскіе читатели, которыхъ такъ высоко ставиль въ своемъ мнѣніи Ф. Н., отнесутся конечно, къ этой книгъ съ такимъ же интересомъ, какъ къ остальнымъ произведеніямъ геніальнаго мыслителя. Тъмъ болъе, что, какъ справедливо замъчаетъ Ю. М. Антоновскій, "Автобіографія Ницше является важнымъ пособіемъ къ пониманію творца Заратустры". Дъло въ томъ, что автобіографія Ницше не является обычнымъ жизнеописаніемъ: "родился тогда-то, учился тамъ-то и т. д.", но представляеть собою исторію эволюціи духа великаго философа, написанную имъ самимъ. Съ большою подробностью останавливается онъ на главнъйшихъ своихъ сочиненіяхъ "По ту сторону добра и зла", "Такъ говорилъ Заратустра", "Сумерки идоловъ", "Вагнеръ, какъ явленіе" и др.

При свътъ собственнаго истолкованія автора эти сочиненія пріобрътають новый интересъ, а нъкоторыя, недостаточно ясныя мъста ихъ, становятся понятными.

"Всеобщій журналъ" 1912 г. Январь № 1.